Борис

ВАСИЛЬЕВ

Экспонат №...

Рассказы



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Экспонат №...

Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Васильев. Экспонат №...
Не стреляйте белых лебедей
От автора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
От автора
14
15
16
17

18
19
20
21
От автора
Коррида в Большом Порядке. Больничный рассказ
«Холодно, холодно…»
Живая очередь
Великолепная шестерка
Экспонат № …

Аннотация

В книгу вошли произведения Бориса Васильева, объединённые темами человеческой совести, любви, памяти и ответственности перед собой и миром.

Повесть «Не стреляйте белых лебедей» – это история Егора Полушкина, человека редчайшей душевной чистоты, который живёт по законам добра и справедливости, несмотря на насмешки и непонимание окружающих. Он пытается сохранить кусочек живой природы – озеро, населенное лебедями, но сталкивается с цинизмом и равнодушием браконьеров.

Рассказ «Экспонат №...» рассказывает об Анне Фёдоровне, матери, потерявшей на войне единственного сына. Храня его письма с фронта, она живёт ими до конца своих дней, пока неумолимое течение времени не превращает её святыню в безымянный музейный «экспонат».

Также в сборник включены рассказы «Корриды в большом порядке», «Холодно, холодно...», «Живая очередь» и «Великолепная шестерка».

Книги Бориса Васильева – это напоминание о том, что истинное достоинство человека проявляется не в громких словах и подвигах, а в повседневной человечности, доброте и способности хранить чистоту души.

Борис Васильев
Экспонат №...

© Васильев Б.Л., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025

Не стреляйте белых лебедей

От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении — терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения

свыше, а так, как велела совесть.

1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, исступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже

невозможное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных — два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич,

муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчанный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменых бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая корова — в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего…

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда

еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлых остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном

массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом, и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршился. И рублю, и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?..

— Да, жизнь обротать — хозяином стать: так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленые или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным, ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль, да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот… Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И Матерь Божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его… в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать навострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор

Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеши. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это… Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе мущинство настоящее? Ну, скажи, есть?

— Дык ведь как… Вон баба моя…

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то — да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то…

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак…

2

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну и глупо, что так, — ворчала Харитина. (Она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала.) — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

— Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

— Ну-у?..

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:

— Колька, ты чего тут сидишь? Тятьку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова

бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятька твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятька его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятьки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой, и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке. (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то — вся в маменьку.) Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

— Ункас…

— Чего?

— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Ун… Ункасу?

— Последнего из могикан. Самого последнего, тятька!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться…

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой

рубахе и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясучки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего

обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

— Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть скрозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятька сказал — значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз — в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

— Умная животная.

— Тять, а в Индии пашут на них?

— Нет. — Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. — Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.

— А чего ж они там делают?

— Ну, как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.

— Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.

— Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.

— А в Индии как же?

— Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.

— И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!

— Ну, не скажи. У нас получше будет. У нас — Россия. Самая страна замечательная.

— Самая-самая?

— Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

— Значит, мы счастливые, тять?

— Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то

там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

— Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи?

— Синяя.

— Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня — заграница. Простирнул, встряхнул — и гладить не надо, и как новая!

— А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

— Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

— А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся?

— Ну?

— Вот. Потому — чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому — своя, к телу льнет, ластится.

— Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак…

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших

спорить не смел: при старших спорить — отца позорить. Наедине возмущался:

— Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

— Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

— С мяса они маются! — сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки — все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

— Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взашей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер — сам себе голова: это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе — спокойно, вглядчиво, на три цигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедень, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за-ради дома да удобства родственника — за-ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегает — не он за работой. Тем более что весь

поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца…

— Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

— Дык ведь это… Доска с доской не сходится.

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные…

— Дык ведь для людей жа…

— Слазь с лесов! Давай на новый объект!

— Дык ведь щели.

— Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдясь оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

— Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не

дело у них — понарошка какая-то.

— Ах горе ты мое бедоносец юродивый!..

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилось. В мае — только земля вздохнула — определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

— Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.

— Ну, понимаем.

— Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

— Ну, дык…

— Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб…

— Нет тут вашего беспокойства.

— Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

— Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и наддал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

— Три смены рванул! — удивился прораб, шагая вдоль канавы. — В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и…

И замолчал, потому что ровная, в нитку тран-

шея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

— Это что?

— Мураши, — пояснил Егор.

— Какие мураши?

— Такие, это… Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

— Дом, значит?

— Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал…

— Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

— Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю…

— А где я тебе кривые трубы возьму, об этом

ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?.. Ах ты, растудыть твою…

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал: вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

— Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут — пигалица, девчоночка, а — уважительно.

— Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

— Как так получается?

— Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

— Неуважительно.

— Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

— Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились

телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать цигарку.

— Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

— Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

— Ай, ай! Что же так-то?

— А смеется.

— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться — пусть себе.

— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

— Ну, а что, кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили — только зря ославился.

— Не то, сынок, что ославился, а то, что… — Егор

вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?

— Головой!

— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очеред-

ные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

— Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник. — И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не держишься… Куда тебя теперь…

— Воля ваша, — сказал Егор. — Какое будет распоряжение.

— Распоряжение!.. — Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. — Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником защетинились. И уж не только свои, поселковые, — из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди ас-

фальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от землицы камнем. А камень — он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево — теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шарахаясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит на всю катушку, либо, не дай бог, за поллитрой потянется. А где поллитра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше,

да деньга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копеечку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале да както оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

— Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота — это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был порядок: банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

— Сухо будет, — заверил Егор. — Ясно-понятно нам.

— Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

— Есть с пристани запрещаю, — устало сказал

Яков Прокопыч. — Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто — затаскают.

— А если свое привезут?

— Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

— Ага!

— Но — обходительно. — Яков Прокопыч важно поднял палец: — Обходительность — вот третья твоя забота. Турист — народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

— Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

— Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

— До спасиба, значит, ждать?

— Ну, это к примеру я, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол, — значит, отчаливай.

— Ясно-понятно.

— Главное тут — помочь людям. Ну, может, костер им сообразить или еще что. Услужить, словом.

— Ну, дык…

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

— На моторе ходил когда?

— Ходил! — Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотницких навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился. — Ну, дык, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель…

— Какие знаешь?

— Ну, это… «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

— У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы: в ближние и на веслах достигнешь.

— На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь инте-

ресовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так: не поспешно, не второпях, а с устатку…

4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали — ну, про зверей или про историю с географией, — рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось — враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь — точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался — и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе. А как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать — забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

— Снайпер я. Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смот-

рела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было:

— Слыхал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие…

— Так ты и рот разинул! А я в него — жеванкой!

— С чернилами жеванка-то! — восторгалась Оля Кузина.

— Ты разиня, а я снайпер! Правда, Олька?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

— Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному: со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

— С чего бы это приспичило им?

— А для совета, — подсказывала Харитина. — Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

— Совещания? — вздыхал хозяин почему-то. —

М-да…

— Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистей да песня позаливистей, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

— И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Неделю отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марьица всполошилась:

— Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

— Погоди, Марья. Не надо гостей.

— Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатович:

— Ну, зови. Черт их с обычаями…

Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого ни попадя за стол не сажал. Из райисполкома инструктор наведывался (рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) — свояк. Егор Полушкин с Харей своей разлюбезной.

— Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилось-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

— Не обессудьте, примите в подарочек. Не на пользу — так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

— Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий: со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»

«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу — как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на марсе! Не видно ли земли обетован-

ной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут: расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

— Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

— Понавесистей! — кричали. — С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

— Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозится.

— Ай, ай! — вздыхал Егор; это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а — хотелось. — У меня, знаешь, тоже это… Неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора

Ипатовича: своих забот хватало.

— Да-а. Ну, ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обомнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

— Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно, — бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

— Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

— Счетов на проданный лес не поступало? — гнул свое хозяин. — Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Не-ет, недолго…

— А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое — это что тогда получится? Это получится полное равнодушие…

— Равнодушие? — Федор Ипатович поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то). — Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие-то, я…

— Во-во, — закивал Егор. — Красота — это разве когда все одинаковое? Красота — это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, обратно же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты — как без праздника. Красота — это…

— Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты — красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но — расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться да еще после двух лафитничков — шапетиков во сне увидишь. Натуральных — с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди говорят. А они знают, что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь напринимались — с озеро Онегу. И с радости, и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнился. Ох, непутевый он мужичон-

ка, ох, бедоносец, божий недогляд!

Старался Егор на этой работе — и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

— Ты, Полушкин…

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И — бежал. Угадал — хорошо, не угадал — обратно бежал, за разъяснениями. Но старание было как у невесты перед будущей свекровью.

— Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмолил хорошо, хвалю… Стой, куда ты?

— Я, это…

— Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла — лопастя только, понял? — в красный: чтоб издаля видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер — черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуешь один номер — зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуешь — другой зачеркни. Понял, Полушкин?

— Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки — только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе

босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит спорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов: пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки понавесит, оглядит все, домой соберется, а Егор вовсю еще старается.

— Закругляйся, Полушкин.

— Счас я, счас, Яков Прокопыч.

— Пятый час время-то. Пора.

— А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе. За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

— Ну как знаешь, Полушкин.

— До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высовывал: от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; недоборщишь — в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал, и этак — и вышло как хотел. Горели

лопасти-то у весел, далеко их было видать.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 — по записочке), так и рука у него провисла. Скучно — черное на голубом. Номер — он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика — это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет: для отдыха, для удовольствия. А ему — номер девять: черным по голубому. Как на доме: сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе — пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой — незнакомой, волнующей — вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало: это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покурив и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные но-

мера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал: благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли, часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

— Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночкой темною изверг рода ты непотребного…

— Работал, Тина, — спокойно и важно сказал Егор. — Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась — на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

— Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Глядите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха: аж скулы ломило.

— Так, — уронил наконец Яков Прокопыч. — Это как понимать надо?

— Оживление, — пояснил Егор. — Номер, он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом: издалека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут — картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка — вислые уши и лапа, у георгина — упругость стебля, согнутого тяжелым цветком, у гусенка — веселый разинутый клюв.

— Вот и радостно всем станет, — живо продолжал Егор. — Я — на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

— Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокопыч. — Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик

сперли? Что?!

— Дык, это…

— Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт, они скажут, Полушкин.

— Чего скажут?

— Не доводи меня до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. — Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке…

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросятки вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

— Опасный ты человек, Полушкин, — со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

— Предупреждали меня, — продолжал заведующий. — Все прорабы предупреждали. Говорили: шебутной ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить — для спокойствия дальнейшей жизни, — что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом — согласен.

— Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то — делай то-то. А то, если все начнут фантазировать… Знаешь, что будет?

— Что? — спросил Егор.

Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

— Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

— А космос? — спросил вдруг Егор (и с чего это понесло его?). — Про него сперва фантазии были:

я по радио слыхал. А теперь…

— А мат ты слыхал?

— Приходилось, — вздохнул Егор.

— А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть — цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя — нецензурная.

— Это поросенок-то с гусенком нецензурные? — усомнился Егор.

— Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

— В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

— А гусь свинье не товарищ!.. — затрясся вдруг Яков Прокопыч. — И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккурат после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром с возвращеньицем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая

голыми пятками.

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздыхать остается да в затылке почесывать:

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог: на это ума хватало. Но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал. По случаю.

Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество, но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Одну-единственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры,

Ох, тягры да вытягры!

Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул…

Так, стало быть, хмель ее направлял — в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому — в голос, кому — в кулак, кому — в сердце, кому — в голову, а Егору — в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии.

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Издалека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь — без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их — наоборот: в белых кепках. И в таких же штанах — только в облипочку. В такую облипочку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

— Доброго здравия, гости дорогие. — Яков Прокопыч пел — не говорил. И кепку снял уважительно. — Откуда это будете, любопытно узнать?

— Отсюда не видно, — ответили. — На ту сторону перевезете?

— На ту сторону можно. — Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку спрятал. — Перевезем согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

— А почему же в оба?

— Лодка вас куда потребуется доставит, а обратно порожняком пойдет.

— Справедливо, — сказал второй и за кошельком полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответственно: рыжая и пегая. Они в дело не встревали: разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

— Как, — спросил, — рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

— Ах, какой мальчуган славный! — сказала пегая. — Тебя как зовут, мальчик?

— Колькой, — охрип вдруг Колька: басом представился.

— А грибы у вас растут, Коля?

— Рано еще грибам, — прохрипел Колька. — Сыроеги прут кой-где, а масляткам слой не вышел.

— Что не вышло масляткам? — Рыжая даже бинокль опустила.

— Слой им не вышел, — пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. — Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом — серяки, за ними — красноголовик с боровиком пойдут. Ну, а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

— Слой — это когда много их, да?

— Много. Тогда и берут. А так — баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал: почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог: только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

— Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая все-таки протянула:

— Только не урони.

— Не-а.

Пока тятька мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть — большое все видится. А если в большие окошечки, то все, наоборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля: он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

— Зачем же ты его вертишь? — спросила рыжая. — Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

— Я знаю, — тихо сказал Колька.

— А для чего же вертишь?

— Так, — застеснялся Колька. — Интересно.

— Сынок! — позвал Егор. — Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

— Туземец.

— Оставь, — лениво отмахнулась рыжая. — Обычный плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор

нацепил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший «Утенок» — пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, уключины, черпачок — все, что положено.

— Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, — доложил Егор.

— Опробуй сперва, — сказал заведующий и пояснил туристам: — Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

— Нельзя ли поживее провернуть весь этот ритуал? — ворчливо поинтересовался лысый.

— Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился.

— Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

— Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без стука при-

чалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И — заулыбался:

— В тютельку, Яков Прокопыч!

— Умеешь, — сказал заведующий. — Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька — он на носу устроился — от пристани оттолкнулся, Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор — за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: впередсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным

заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считаные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

— К обрывчику! — распорядился сивый. — Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая, и пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

— Прекрасное место! — щебетала пегая. — Божественный воздух!

— С рыбалкой тут, по-моему, прокол, — сказал сивый. — Эй, малец, как тут насчет рыбки?

— Ерши, — сказал Колька, задыхаясь (он аккурат дул четвертый матрас).

— Ерши — в уху хороши. А путная рыба есть?

— Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался.

— Сам-то ловишь? — поинтересовался лысый.

— Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и сил у Кольки не хватало.

— А батька-то твой ловит?

— Не-а.

— Чего же так?

— Не-а.

— Содержательный разговор, — вздохнула пегая. — Я же сказала: типичный туземец.

— Молодец, Коля, — похвалила вдруг рыжая. — Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал?

— Не-а.

Колька не очень понял, почему он «типичный

туземец», но подозревал обидное. Однако не расстраивался: и некогда было, и рыжая тетенька уж очень вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов был не пять — пятьдесят пять матрасов надуть без отдыха.

Но уже к пятому матрасу Колька настолько от стараний уморился, что в голове гудело, как в пустом чугунке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья этого не прекращал: дело следовало закончить, да и не каждый день матрасы-то надувать приходится. Это ведь тоже ценить надо: матрас-то — для путешествий. И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о чем говорят эти туристы. А когда осилил последний, заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался — тятька его из ельника выломился. Ель сухую на дрова приволок и сказал:

— Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком: беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

— А большой муравейник-то? — спросил сивый.

— А с погреб, — сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное.

— Как интересно! — сказала рыжая. — Покажи-

те, пожалуйста, где он.

— Это можно, — сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули: гора. Что там погреб — с добрую баньку. Метра два с гаком.

— Небоскреб! — сказал плешивый. — Чудо природы.

Муравьев кругом бегало — не счесть. Крупные муравьи: черноголовики. Такой тяпнет — сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

— Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там подальше чуть — еще поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособлю с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

— Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал плешивый. — Вот если у кого ревматизм…

— Ой! — взвилась пегая. — Кусаются, проклятые!..

— Дух чуют, — сказал Егор. — Они мужики самостоятельные.

— Да, — вздохнул лысый. — Неприятное соседство. Обидно.

— Чепуха! — Сивый махнул рукой: — Покорим!

Тебя как звать-то, Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес: банка нашлась. Принес, подал сивому:

— Вот.

— Молоток мужик, — сказал сивый. — Учтем твою сообразительность. А ну-ка, отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой — ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, и даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, сгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд милли-

онов крохотных существ, как завивается от жары хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь.

— Фейерверк! — восхитилась пегая. — Салют победы!

— Вот и все дела, — усмехнулся сивый. — Человек — царь природы. Верно, малец?

— Царь?.. — растерянно переспросил Колька.

— Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища.

— Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — Теперь никто нам не помешает, никто нас не побеспокоит.

— Надо бы отпраздновать победку-то, — сказал плешивый. — Сообразите что-нибудь по-быстрому, девочки.

— Верно, — поддержал сивый. — Мужика надо угостить.

— И муравьев помянуть! — захохотал лысый.

И все пошли к лагерю.

Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же при-

нес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шепотом:

— Как же так, тятька? Ведь живые же они…

— Да вот, — вздохнул Егор. — Стало быть, так, сынок, раз оно не этак…

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабенки клеенку расстелили и расставили закуски.

— Идите, — позвали. — Перекусим на скорую руку.

— Да мы… это… Не надо нам.

— Всякая работа расчета требует, — сказал сивый. — Мальцу — колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?

Против колбаски Колька устоять не мог: не часто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца: тот еще вздыхал да хмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал:

— Ты бы руки сполоснул, сынок. Грязные руки-то, поди.

Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши

бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тер, чтоб забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось. Но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку.

— Пей, Егор. С устатку-то употребляешь: по глазам видно. Употребляешь ведь, а?

— Дык, это… Когда случается.

— Считай, что случилось.

— Ну, чтоб жилось вам тут, значит. Чтоб отдыхалось.

Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь.

— Вот это по-русски! — удивился плешивый.

Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда как водки позабористее: враз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти пока-

зались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг.

— Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут — пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животина, всякая муравьятина, всякая елка-березонька — все по спокою своему тоскуют. Вот и мураши, обратно же они, это… Тоже.

— Философ ты, Егор, — хохотал сивый. — Давай излагай программу!

— Ты погоди, мил человек, погоди. Я чего хочу сказать? Я хочу, этого…

— Спирту ты хочешь!

— Да погоди, мил человек…

Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково: «мил человек». Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел: «мил дружок» обращался. Моргал ласковыми глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало: видно, при рождении обделили. А уж когда вторую-то кружечку опрокинул — и совсем затуманился.

— Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас — голубое. А можно разве черным по голубому-то, а? По сини небесной — номера? Не-ет, мил дружок, нехорошо это, арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!

— Да ты поэт, мужик. Сказитель!

— Ты погоди, мил дружок, погоди. Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтоб ласково всем было, вот. Чтоб солнышка всем теплого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное. Чтоб радости, радости чтоб поболе, мил дружки вы мои хорошие! Для радости да для веселия души человек труд свой производить должен.

— Ты лучше спляши нам для веселья-то. Ну?.. Ай, люли, ай, люли! «Светит месяц, светит ясный…»

— Не надо! — крикнула было рыжая. — Он же на ногах не стоит, что вы!

— Кто не стоит? Егор не стоит? Да Егор у нас — молоток!

— Давай, Егорушка! Ты нас уважаешь?

— Уважаю, хорошие вы мои!

— Не надо, тятька!

— Надо, Колюшка. Уважить надо. И — радостно. Всем — радостно! А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие!

Захлопал плешивый:

— «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, малинка моя!..» Шевелись, Егор!

Пели, в ладоши хлопали: только сынок да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые, расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица эти расплываются в счастливых улыбках.

— Эх, мил дружки вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил?..

Три раза вставал — и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая не в лад руками. А ноги путались и гнулись, и он все совался куда-то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады, кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала.

— Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него, это так, временно.

Не брал Колька конфет. И смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие.

— Давай, Егор, наяривай! — орал сивый. — Хорошо гуляем!

— Ах, мил дружок, да для тебя…

Кривлялся Егор, падал — и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца: весело ему было, очень даже весело.

— Ай, люли, ай, люли! Два притопа, три прихлопа!..

— Не надо!.. — закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук рыжей. — Перестань, тятька, перестань!

— Погоди, сынок, погоди. Праздник ведь какой! Людей хороших встретили. Замечательных даже людей!

И опять старался: дрыгался, дергался, падал, поднимался.

— Тятька, перестань!.. — сквозь слезы кричал Колька и тащил отца с поляны. — Перестань же!..

— Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда.

— Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем!

— Злые вы! — кричал Колька. — Злые, гадкие! Вы нас как мурашей тех, да? Как мурашей?..

— Егор, а сынок-то оскорбляет нас. Нехорошо.

— Покажи отцовскую власть, Егор!

— Как не стыдно! — кричала рыжая. — Он же не соображает сейчас ничего, он же пьяный, как же можно так?

Никто ее не слушал: веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался.

— Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать.

— Мал ты еще старшим указывать… — бормотал Егор, отталкивая Кольку. — Ступай отсюда. Домой ступай, берегом.

— Тятька-а!..

— Ы-ых!..

Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался: обмер вроде. И все вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать: словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел.

— Коля! Коля, вернись! — закричала рыжая.

Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь

кусты и слезы. Так и скрылся.

На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался, икал, тупо глядя в землю. Остальные молчали.

— Стыдно! — громко сказала рыжая. — Очень стыдно!

И ушла в палатку. И все засовестились вдруг, глаза начали прятать. Сивый вздохнул:

— Перебор. Давай, мужик, отваливай. Держи трояк, садись в свое корыто и — с океанским приветом.

Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая сказала брезгливо:

— Алкоголик.

Егор с трудом взобрался в лодку, кое-как, путаясь в веслах, отгреб от берега. Поднялся, качаясь, на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул за пусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду.

— Утонет!.. — взвизгнула пегая.

Егор вынырнул: ему было по грудь. Со лба свисали осклизлые космы тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть.

— Не утонет, — сказал сивый. — Тут мелко.

— Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! — крикнул лысый. — Мотор не трогай, на веслах иди!

— Утенок! — вдруг весело отозвался Егор. — Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком!

Борт был высок, и, для того чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной воде плыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь, как лошадь. И, уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега, таща лодку за собой.

— Эй, может, помочь? — окликнул лысый.

Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тине, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади.

А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином, ни уключин: все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто волок лодку вдоль берега в хозяйство усталого Якова Прокопыча.

6

«Где дурак потерял, там умный нашел» — так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было нисколько не меньше, чем на нашем.

Федор Ипатович в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было — деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот, за здорово живешь, выложить их на стол, под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатовича это была задача.

А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий (вежливый, язви его!), так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил:

— Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?

— Дом? — Дошлый был мужик Федор-то Ипатович: сразу смикитил, куда щеголь этот городской оглоблю гнет. — А прежний за него отдал. Новый мне свояк ставил, так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести: могу заявление за-

веренное…

— Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом? Кто давал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение? Где счета, ведомости, справки?

— Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное.

— Дело ваше уголовное, Бурьянов.

С тем и расстались, с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил: две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то…

— Не то хана, Марья. Засудит.

— Ахти нам, Феденька!

— Считаться хотите? Ладно, посчитаемся!

Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было.

Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом — картинка, с петухом на крыше. И задним числом за него деньгу гнать — это ж обидно до невозможности.

Поднажал Ипатович. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса, вестимо: пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыко не драть, когда на лапти спрос. Но разворачиваться вовсю все же опасался: о том, что лесничий строг, и до поселка слух дополз.

В другие возможности кинулся. И сам искал, и сына натаскивал:

— Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет.

Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива: три десяточки всего за совет, разрешение да перевозку. Но и три десяточки — тоже деньги.

Тридцатку эту Федор Ипатович с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером: рыба не брала. Вовка первым про то дознался (братика искать послали, да до братика ли тут, когда рублем веет!), дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедля, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клева посокрушался и сказал:

— Есть одно местечко: и рыбно, и грибно, и ягодно. Но запретное. Потому-то и щуки там — во!

Долго цену набивал, отнекивался да отказывался. А как стемнело, лично служебную кобылу пригнал и перебросил туристов за десять километров на берег Черного озера. Там и вправду пока еще клевало, и клев этот обошелся туристам ровнехонько в тридцаточку. Умел жить Федор Ипатович, ничего не скажешь!

Вот потому-то Егор, через два дня опамятовавшись и в соображение войдя, припомнил, где был, но туристов тех на месте не обнаружил.

Кострище обнаружил, банки пустые обнаружил да яичную скорлупу.

А туристы сгинули. Как сквозь землю.

И мотор тоже сгинул. Хороший мотор, новый: «Ветерок», восемь сил лошадиных да одна Егорова. И мотор сгинул, и бачок, и кованые уключины. Весла, правда, остались: углядел их Егор в тростниках. Лопастя-то у них огнем горели, издалека видать было.

Но это все он потом выискал, когда опамятовался. А по первости в день тот развеселый хохотал только. К солнышку закатному лодку до хозяйства Якова Прокопыча доволок, смеху вместо объяснений шесть охапок вывалил и трудно, на шатких ногах, домой направился. И собаки за ним увязались.

Так в собачьей компании ко двору и притопал. Это обыкновенных пьяных собаки не любят, а Егора всякого любили. Лыка ведь не вязал, ноги не держали, а псы за ним перли, как за директорской Джильдой. И говорят, будто не сам он в калитку стучал, а кто-то из приятелей его лично лапой сигнал отстукал.

Ну, насчет этого, может, и привирают…

А Харитина, с превеликим трудом Егора в сарай затолкав и заперев его там от греха, первым

делом к свояку бросилась, к Федору Ипатычу, сообщить, что пропал, исчез Колька.

— Погоди заявлять, Тина, с милицией связаться всегда поспеем. Искать твоего Кольку надо: может, заигрался где.

Вовку в поиск отрядил: вдоль берега, вдоль Егоровой бурлацкой дорожки. Побегал Вовка, покричал, поаукался и на «ау» к туристам вышел. Кепку издаля скинул, как отец учил:

— Здравствуйте, дяденьки и тетеньки тоже. Братика ищу. Братик мой двоюродный пропал, Коля. Не видали, часом?

— Посещал нас твой кузен. Утром еще.

«Кузен» — это для смеха, а всерьез — так все рассказали. И как тут дядя Егор напился, и как безобразничал, и как драку затеял.

— Он такой, — поддакивал Вовка. — Он у нас шебутной, дяденька.

А Харитина, слезами исходя, все по поселку бегала и про причитания свои забыла. Всхлипывала только:

— Колюшку моего не видали, люди добрые? Колюшку, сыночка моего?..

Никто не видел Кольку. Пропал Колька, а дома ведь еще и Олька имелась. Олька и Егор, но Егор храпел себе в сараюшке, а Ольга криком исходи-

ла. И крик этот Харитину из улицы в улицу, из проулка в проулок, из дома в дом сопровождал: доченька-то горластенькая была. И пока слышала она ее, так хоть за доченьку душа не болела: орет — значит, жива. А вот как стихла она вдруг, так Харитина чуть на ногах устояла:

— Придушили!

Кто придушил, об этом не думалось. Рванулась назад — только платок взвился. Ворвалась в дом: у кроватки Колькина учительница стоит, Нонна Юрьевна, а в кроватке Ольга на все четыре зуба сияет.

— Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Коля ваш у меня.

— Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить?

— Обидели его очень, Харитина Макаровна. А кто обидел, не говорит: только трясется весь. Я ему валерьянки дала, чаем напоила: уснул. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь и Егору Савельевичу скажите, чтобы тоже не волновался зря.

— Егор Савельич с кабанчиком беседу ведут. Так что особо не волнуются.

— Устроится все, Харитина Макаровна. Все устроится: завтра разберемся.

Не поверила Харитина: лично с Нонной Юрьев-

ной Кольку глядеть побежала. Действительно, спал Колька на раскладной кровати под девичьим одеялом. Крепко спал, а на щеках слезы засохли. Нонна Юрьевна будить его категорически запретила и Харитину после смотрин этих назад наладила. Да Харитине не до того тогда было, не до скандалов.

Наутро Колька не явился, а Егор, хоть и проспался, ничего вспомнить так и не смог. Лежал весь день в сараюшке, воду глотал и охал. Даже к Якову Прокопычу, когда тот самолично во двор заявился, не вышел. Не соображал еще, что к чему, кто такой Яков Прокопыч и зачем он к ним прибыл, по какому делу.

А дело было страшное.

— Мотор, бачок да уключины. Триста рублей.

— Три ста?..

Сроду Харитина таких денег не видала и потому все суммы больше сотни именовала уважительно и раздельно: три ста, четыре ста, пять ста…

— Три ста?.. Яков Прокопыч, товарищ Сазанов, помилуй ты нас!

— Я-то милую: закон не милует, товарищ Полушкина. Ежели через два дня на третий имущества не обрету — милицию подключим. Акт составлять буду.

Ушел Яков Прокопыч. А Харитина в сарай кинулась: трясла муженька, дергала, ругала, била даже, — Егор только мычал. Потом с превеликим трудом рот разинул, шевельнул языком:

— А где я был?

Тут уж не до Кольки: тот у Нонны Юрьевны обретается, не пропадет. Тут все разом пропасть могли, со всеми потрохами, и потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной: к сестрице Марьице да Федору Ипатычу.

— Спасите, родненькие! Три ста рублей стребовали!

— По закону, — сказал Федор Ипатович и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь.

— По миру ведь пойдем-то! По миру, сестрица!

— Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни: куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, Харя моя миленькая, так-то.

Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакалась, да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел — и словно не было его: все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и

Колька в чужом дому.

За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сараюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина, за ночь в хвощ высохнув, тоже вдруг потишела и об одном лишь упрашивала:

— Ты вспомни, где был-то, Егорушка. С кем пил да как шел потом…

Кое-что она, правда, знала: не от Кольки — тот молчал насмерть. Только голову отворачивал. От Вовки-племянника:

— Туристы ему поднесли, тетя Тина.

— Туристы?.. — Мутно было в голове у Егора. Мутно, пусто и неуютно: словно все мысли впопыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлядь да мусор. — Какие такие туристы?

— Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает. И мотор этот найди. Господом с Богородицей тебя заклинаю и детьми нашими: найди!

Полдня Егор «Ветерок» тот да бачок с уключинами на дне искал. Нырял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая. Трясся в ознобе на берегу, выкуривал цигарку, снова в воду лез. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому

было: турист тот уже на Черном озере рыбкой баловался. И, продрогнув до костей да пачку махорки выкурив, Егор прекратил ныряния. Уключину в тине нашел да два весла в тростниках и с тем к Якову Прокопычу и прибыл.

— Дайте лодку, Яков Прокопыч. С лодки я багром нащупаю, а то знобко. Сильно знобко там ногами-то тину топтать.

— Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим.

— Куда поглядим-то?

— На твое дальнейшее поведение.

— В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу.

— Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой.

— Ничего с вашим принципом не сделается, Яков Прокопыч. Богом клянусь.

— Принцип, Полушкин, это, знаешь…

— Знаю, Яков Прокопыч. Все я теперь знаю.

Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошеных, сказал вдруг невпопад:

— Ну, катайтесь.

И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал, обратно в воду. И — пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил. Потом только заорал:

— Полушкин! Стой, говорю, Полушкин!..

Остановился Егор. Поглядел, сказал тихо:

— Ну, чего орешь, Сазанов? Триста рублей начету на меня? Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип.

Домой шагал, под ноги глядя. И дома глаз не поднимал: бровями белесыми занавесился, и, как Харитина ни старалась, взгляд его так и не встретила.

— Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю?

Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу.

— Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, донышко все ощупаем?

Молчал Егор. Молча ножи осматривал: какой меньше гнется. Выбрал, брусок с полки достал, плюнул на него и начал жало ножу наводить. Обмерла Харитина:

— Ты зачем ножичек-то востришь, Егор Савельич?

Молча шаркал Егор ножом по брусочку, вжиг да вжиг. И брови в линию свел. Выгоревшие брови были, нестрашные, а свел.

— Егор Савельич…

— Воду вскипяти, Харитина. И тазы готовь.

— Это зачем же?

— Кабанчика кончать буду.

Харитина наседкой вскинулась:

— Что?!

— Делай что велел.

— Да ты… Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым?

— Я тебе все сказал.

— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..

— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного.

Сроду он этих кабанчиков не колол: всегда просил, у кого глаз пожестче… А тут озверел словно: всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тот сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали.

Хорошо еще, Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретилась, хотя и девчоночка совсем еще одинокая. Из города.

К ночи разделали: мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Взвалил Егор мешки на загорбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко, какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то боек мужик был, а теперь и подавно: вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода.

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

7

Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни драчливых приятелей, и хоть боли самой разнообразной натерпелся предостаточно, боль эта только тело задевала. А вот душу никто еще доселе не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. Нетренированная душа у парня была: большой, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатовича Бурьянова.

Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская оплеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку прошлась, не соседская. Станешь объяснять кому — засмеют:

— Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази.

Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда, где — верил он — и без соображений

все поймут, разберутся и помогут.

— А они говорят: «Дай ты ему леща!» А он и ударил.

— А ты добрый будь и будь сильный!

Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела как на взрослого, всерьез глядела, и именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в коленки лбом, и она утешать его не стала. Ни утешать, ни уговаривать, что, мол, пустяки это все, забудется: отец же приложил, не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила:

— Завтра, Коля, разговаривать будем.

Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неуживчивого в себе чувствовал, изучал — и не улыбался. Дело было серьезным.

— Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает?

Зачем же?

— Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен?

— Ну, так и что, что добрый?

Нонна Юрьевна не спорила: спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно: может, с отцом переговорить? Но Колька намек этот встретил воинственно:

— А кто виноват, тот пусть первым и приходит.

— Можно разве от старших такое требовать?

— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да? Ну, а я крепостным ни за что не буду, ни за что!

Вздыхала Нонна Юрьевна. Где-то там, в недосягаемом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать-учительница. Единственная из большой, шумной семьи пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна: велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу — только поплакала.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Нонна Юрьевна в поселке мышонком жила: из дому — в школу, из школы — домой. Ни на танцы, ни на гулянья: будто не двадцать три ей, а всех шестьдесят восемь.

— Хочешь песню про Стеньку Разина послушать?

Пластинок у Нонны Юрьевны целых два ящика. А книг еще больше. Хозяйка даже опасалась:

— Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете.

— Почему вы так решили?

— А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики книжных не любят.

Мужики, может, и не любили, а вот Колька очень любил. И целый тот день они пластинки слушали, стихи читали, про зверей разговаривали и снова пластинки слушали.

— Ну, голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает!

— Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин, запомни, пожалуйста.

— Обязательно даже запомню. Вот уж, наверно, силен был, да?

— Трудно сказать, Коля. Родину оставить и умереть в чужой стране — это как, сила или сла-

бость? Мне думается, что слабость.

— А может, он от обиды?

— А разве на родину можно обижаться? Родина всегда права, Коля. Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми, но родина злой быть не может, ведь правда? И обижаться на нее неразумно.

— А тятька говорит, что у нас страна самая замечательная. Ну, прямо самая-самая!

— Самая-самая, Коля.

Грустно улыбалась Нонна Юрьевна, но Кольке не понять было, почему она так грустно улыбается. Он не знал еще ни что такое одиночество, ни что такое тоска. И даже первая его встреча с обычной человеческой несправедливостью, первая его настоящая обида была все-таки ясна и понятна. А грусть Нонны Юрьевны была подчас непонятна и ей самой.

На второй день Колька не выдержал добровольного затворничества и сбежал. Пока его тятька бессчетные разы нырял за мотором, Колька задами, чтоб на мать не наткнуться, выбрался из поселка. Тут перед ним три дороги открывались, как в сказке: на речку, где ребятня поселковая купалась; в лес, через плотину, и на лодочную станцию, куда он совсем еще недавно бегал с

особым удовольствием. И, как витязь в сказке, Колька тоже потоптался, тоже поразмыслил, тоже повздыхал и свернул налево: в хозяйство Якова Прокопыча.

— Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькино «здравствуйте». — Какие еще огорчения сообщишь?

Очень волнуясь и даже малость заикаясь от этого волнения, Колька торопливо, взахлеб рассказал заведующему про весь позавчерашний день. Про то, как ладно бежала лодка и как разворачивались дальние берега. Про то, как старательно помогал Егор туристам. Про матрасы и костер, про муравьиный пожар и желтую палатку. Про колбасу с булкой и две эмалированные кружки, которые опрокинул тятька с устатку под настойчивые просьбы приехавших. И еще как плясал он потом, как падал…

Яков Прокопыч слушал внимательно, не перебивая: только моргал сердито. В конце уточнил:

— И ты, значит, ушел?

— Ушел, — вздохнул Колька, так и не решившись поведать о пощечине. — Я ушел, а он остался. С мотором еще.

— Значит, ты не виновен, — сказал, помолчав, заведующий. — А я тебя и не привлекаю: не ты у

меня работаешь.

— Я же не для того, — вздохнул Колька. — Я же все как было рассказал. Он же переживает, дяденька Яков Прокопыч.

— Он бесплатно переживает, а я — за деньги. Ладно… Все ясно. Мал еще учить. Мал. Ступай отсюда. Ступай и не появляйся: запрещаю.

Ушел Колька. Без особых, правда, огорчений ушел, потому что ни на что не рассчитывал, разговор этот затевая. Просто не мог он не поговорить с Яковом Прокопычем, не мог не рассказать ему, как все было, зная, что тятька про то никогда и никому не расскажет. А то, что Яков Прокопыч, про все узнав, просто-напросто прогонит его, Колька предчувствовал и поэтому не удивился и не расстроился. Задумался только и опять пошел к учительнице.

— Почему это люди такие злые, Нонна Юрьевна?

— Неправда, Коля, люди добрые. Очень добрые.

— А почему же тогда обижают?

— Почему?..

Вздохнула Нонна Юрьевна: легко вам вопросы задавать. Можно было не ответить, конечно. Можно было и отделаться: мол, вырастешь — узнаешь, мал еще. Можно было и на другое

разговор этот перевести. Но Нонна Юрьевна в глаза Кольке заглянула и лукавить уже не могла. Чистыми глаза были. И чистоты требовали.

— О том, что такое зло, Коля, и почему совершается оно, люди давно думают. Сколько существуют на свете, столько над этим и бьются. И однажды, чтобы объяснить все разом, дьявола выдумали, с хвостом, с рогами. Выдумали дьявола и свалили на него всю ответственность за зло, которое в мире творится. Мол, не люди уже во зле виноваты, а дьявол. Дьявол их попутал. Да не помог людям дьявол, Коля. И причин не объяснил, и от зла не уберег и не избавил. А почему, как по-твоему?

— Да потому, что снаружи все искали! А зло — оно в человеке, внутри сидит.

— А еще что в человеке сидит?

— Живот! Из-за живота-то и зло. Всяк за живот свой опасается и всех кругом обижает.

— Кроме живота, есть еще и совесть, Коля. А это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Крохотной остается, зеленой, несъедобной. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечает, где зло, а где

добро: все у него смещается, все перепутывается. И тогда, чтобы рамки себе определить, чтобы преступлений не наделать с глухой-то своей совестью, такие люди правила себе выдумывают.

— Какие правила?

— Правила поведения: что следует делать, а что не следует. Выносят, так сказать, свою собственную малюсенькую совесть за скобки и делают ее несгибаемым правилом для всех. Ну, они, например, считают, что нельзя девушке жить одной. А если она все-таки живет одна, значит, что-то тут неладно. Значит, за ней надо особо следить, значит, подозревать ее надо, значит, слухи о ней можно самые нелепые…

Остановилась Нонна Юрьевна. Опомнилась, что свое понесла, что из общего и целого вывод сделала частный и личный. И даже испугалась:

— Господи, у меня же плитка на кухне не выключена!

Выбежала, а Колька этого и не заметил. Сидел брови насупив, думал, прикидывал. Слова Нонны Юрьевны к своему житью-бытью примерял. Насчет правил точно все сходилось. Видал Колька таких, что жили по своим правилам, а тех, кто этих правил не придерживался, считали либо дураками, либо хитрюгами. И если правила, по

которым жил Яков Прокопыч, были простыми и неизменными, то правила родного дядюшки Федора Ипатовича решительно расходились с ними. Они были куда изощреннее и куда гибче прямолинейных пунктиков контуженного сосной Якова Прокопыча Сазанова. Они все могли оправдать и все допустить — все, что только нужно было в данный момент самому Федору Ипатовичу.

И еще были тятькины правила. Простые: никому и никогда никаких правил не навязывать. И он не навязывал. Он всегда жил тихо и застенчиво: все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышка, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто.

Хмурил Колька брови, размышлял, по каким правилам ему жить. И как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще больше бы не было, а чтобы все люди вокруг поступали бы только по совести. Так, как тятька его поступал.

А пока Колька ломал голову над проблемами добра и зла, учительница Нонна Юрьевна тихонечко плакала на кухне. Хозяйка ушла, и можно было, не таясь и не прилаживая дежурных улыбок, вдоволь посокрушаться и над своей

незадачливой судьбой, и над своими очками, и над ученой угловатостью, и над затянувшимся одиночеством.

А может, и правда, что мужчины книжных девушек не любят?..

8

Поезд прибыл в областной центр в такую рань, что Егор оказался возле рынка в пять утра. Рынок был еще закрыт, и Егор остановился возле ворот, положив мешки на асфальт. Сам же подпер плечом соседний столб, свернул цигарку вместо завтрака и начал с опаской раздумывать о предстоящей торговой операции. Сроду он в купцах не ходил, да и руки у него под топорище приспособлены были, не под навески-разновески. Дома, в горячке, он чересчур уж уверовал в собственные способности и теперь, хмурясь и вздыхая, сильно жалел об этом.

Чего греха таить: побаивался Егор базара. Побаивался, не доверял ему и так считал, что все равно обманут. Все равно на чем-нибудь да объегорят, и мечтать тут надо о том лишь, как бы не на все килограммы разом объегорили. Как бы хоть что-то выручить, хоть две из тех трех сотенных, что нависли над ним, как ненастье.

А тем временем и город зашевелился: машины зафыркали, дворники зашаркали, ранние дамочки каблуками зацокали. Егор на всякий случай поближе к мешкам подобрался, променяв удоб-

ный дальний столб на неудобный ближний, но вокруг колхозного рынка пока особой активности не наблюдалось. Мелькали, правда, отдельные личности, но облюбованных Егором ворот никто не отпирал.

— Эт-то что такое?

Оглянулся Егор: начальник. В шляпе, в очках, при портфеле. И пальцем в мешки целится.

— Эт-то что, спрашиваю вас?

— Свининка это, — поспешно пояснил Егор. — Свеженькая, значит. Личная убоинка.

— Убоинка? — Под шляпой грозно заерзали брови: вверх-вниз, вверх-вниз. — Кровь это! Кровь по асфальту струится антисанитарно, вот что я вижу отчетливо и невооруженно.

Из-под мешка действительно сочилась жалкая струйка сукровицы. Егор поглядел на нее, на строгого начальника, ничего не понял и поспешно захлопал глазами.

— За такие фортели рыночную продукцию бракуют, — строго продолжал начальник с портфелем. — Какая, говорите, у вас продукция?

— У меня? У меня никакая не продукция. Убоинка у меня. Поросячья.

— Тем более блюсти обязан. О холере наслышан? Нет? Чистота — залог здоровья! Фамилия?

— Мое?

— Фамилия, спрашиваю вас?

— Это… Полушкин.

— Пол-ушкин. — Гражданин в шляпе вынул книжечку и аккуратно занес в нее Егорову фамилию, что очень озадачило Егора. — Снизим оценочный балл, гражданин Полушкин. Знаете, за что именно. Вывод делайте сами.

Спрятал книжечку в карман, пошел не оглядываясь, а вслед ему Егор ошалело хлопал глазами. Потом к мешкам сунулся, хотел уж подхватить их, чтобы все было санитарно, да не успел. Двое из-за рынка выломились: один уж в годах, а второй середник. Пожилой завздыхал, зацокал:

— Ах самоуправство, ах паразит!

— Чего? — спросил Егор.

— Знаешь, кто это был? — спросил середник. — Главный по инспекции. Он штампы на мясо ставит.

— Штампы?

— Не поставит — хана товару. И продавать не разрешат, и в холодильник не допустят. Стухнет товарец.

— Чего? — спросил Егор.

— Строгачи кругом, страшное дело! — завздыхал пожилой. — Строгачи-перестраховщики:

эпидемия, слыхал?

— Чего?

— Жмут нашего брата…

Закручинились прохожие, завздыхали, застрекотали: гигиена, санинспекция, эпидемия, категория, штампы, холодильник. Один справа стоял, другой слева расположился, и Егор, слушая их, все башкой вертел. Аж шею заломило.

— Да-а, влип ты, мужик.

— Вот он в прошлом месяце, — пожилой в середника ткнул, — на три сотни он накрылся.

— Чего?

— Накрылся. С приветом, значит, три сотенных. Как те ласточки-касаточки.

— Чего?

— Да-а, было дело, было… У тебя чего тут, телятинка?

— Поросятинка. — Егор, разинув рот, глядел то на правого, то на левого. — Что же делать-то мне, мужики, а? Присоветуйте.

— А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки да дуй до дому. Сдашь в родном колхозе по рублю за килограмм.

— По рублю?

— По рублю не возьмут, — сказал середник. — Зачем им по рублю? От силы по семь гривен.

— Семь гривен? Нельзя мне по семь-то гривен — никак нельзя. Начет на меня. Три сотенных начет.

— Да-а, дела, — вздохнул пожилой. — Обидно, конечно, но раз он твою фамилию записал, то все.

— Ну-у?

— Помог бы ты мужику-то, а? — попросил за Егора середник. — Видишь, и начет на него, и поросятинка тухнет.

— Трудно, — закручинился пожилой. — Ой, трудное это дело. Немыслимо!

— Мы понимаем! — зашептал, озираясь, Егор. — Мы это, трудности-то ваши, как говорится, учтем. Учтем ваше беспокойство.

— Это — лишнее, — строго сказал пожилой. — Я к тебе всей, можно сказать, душой, а ты — деньги. Обижаешь.

— Обижаешь, — подтвердил середник.

— Да что вы, что вы! — перепугался Егор. — Это так я, так! Сболтнул я, граждане.

— Сболтнул он, — сказал середник. — Может, уважим?

— Главное тут, как начальство объехать, — размышлял пожилой. — Фамилия-то известна: записана фамилия-то. Вот в чем сложность. Мо-

жет, лучше сразу все продать, а? Продать все чохом. Оптом, как говорится: полтора рубля за килограмм.

— Полтора? — ахнул Егор. — Да что вы, граждане милые! Грабиловка полная получается.

— Грабиловка, говоришь? А то, что фамилию твою на цугундер взяли, это как называется? Сам ты во всем виноват, раскорячился тут антисанитарно, а потом орешь: грабиловка! Да на что ты нам сдался, спрашивается? Мы же помочь тебе хотели, по-товарищески.

— Не хошь — как хошь, — сказал середник. — Ходи грязный.

И пошли оба. Заскучал Егор, замаялся, не выдержал:

— Мужики! Эй, мужики!

Остановились.

— Два рубля с полтинничком…

— Пошел ты!

И сами пошли. Заметался Егор пуще прежнего:

— Мужики! Граждане милые, не бросайте!

Опять остановились:

— Ну, чего тебе? Мы же тебе уважение оказываем, мы тебе помощь, можно сказать, за здорово живешь предлагаем, а ты — верть да круть, круть да верть.

— Несерьезный ты мужик. Так оно получается.

— Да куда же вы, граждане-товарищи? А я как же?

— А как хочешь.

К углу направились, за рынок. Закричал Егор:

— Стойте! Ладно уж, чего там гадать да выгадывать. Давай за все про все две сотенных да тридцаточку.

Знал ведь, что хитрят мужики. Хитрят, врут, изворачиваются, и от всего этого росло в его душе какое-то очень усталое открытие. Он вдруг вспомнил и Федора Ипатовича, выгадывавшего на чужом горе себе бревнышко; и Якова Прокопыча, беспокоившегося только о том, чтобы его, его лично не коснулось чье-то несчастье; и туристов, и этих ловкачей, и еще многих других — таких же мелких, жадных и думающих только о себе. Вспомнил он обо всем этом и сказал:

— Давай за все про все...

— Ну, знаешь, это сперва прикинуть требуется. Волоки на весы свою продукцию.

Прикинули. Домой Егор с двумя сотнями возвращался. Зато без мяса и — с подарками. Кому — ножичек, кому — платочек: всех одарил, никого не забыл. И на водку денег хватило. С порога объявил:

— Гостей покличь, Харитина. Всех зови: бригадиров, прораба, Якова Прокопыча, родню любезную. Зови всех: Егор Полушкин мир угощать желает.

— Ты о чем это думал-выдумал о чем размечтался-разнежился?

Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не снявши, ладонью по столу постучал:

— Все! Хоть день, да беспечально!

— Да ведь начету три ста. А ты за всего кабанчика — два ста. А где еще один ста?

— Я голова, я удумаю.

— Ты голова, а я шея: на мне хомут-то семейный…

Выхватил Егор из кармана деньги, затряс:

— Из-за бумажек этих да чтоб печаловаться? Жизни красоту ими измерять? Слезы утирать? Да спалить их всенародно в жгучем пламени! Спалить и на пепле вприсядку плясать! Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие прозрелись! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! Чтоб… Да я, я первый свои последние в купель ту огненную…

— Егорушка-а!..

Повалилась Харитина в ноги: спалит ведь

последние, с него станется. Спалит, отведет душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую.

— Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Все, как велишь, исполню, всех покличу, напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. Отдай, Христом богом молю.

Обмяк вдруг Егор: словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать рыночных десяточек, сказал:

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею.

Закивала Харитина, мышью в дверь юркнула. А Егор сел на лавку, достал кисет и начал советницу свою свертывать, цигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не потому, что махорку жалел — ничего он сейчас не жалел! — а потому, что очень уж ему хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты.

О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему и — главное — за что. Хотелось рассудить, кто прав и кто виноват. Хотелось решить, как быть дальше, где достать еще сотню и где отыскать завтрашний

заработок. Хотелось помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных. Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И — уважения. Хоть немного.

И еще очень хотелось плакать, но плакать Егор не умел и потому просто сумрачно курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у дверей стоит Колька.

— Сынок… — И встал. И голову опустил. А потом сказал тихо: — Кабанчика-то я прирезал, сынок. Вот, значит.

— Я знаю.

Колька прошел к столу и сел на материно место — на табурет. А Егор все еще стоял, виновато склонив голову.

— Ты сядь, тятя.

Егор послушно опустился на лавку. Тыкал вслепую окурком в герань на окошке: только махра трещала. И глазами кругом бегал: вокруг Кольки. Колька поглядел на него, по-взрослому поглядел, пристально. А потом сказал:

— Ни в чем ты не виноват, тятя. Это я виноват.

— Ты? Как так выходит?

— Не остановил тебя вовремя, — вздохнул Колька. — Ты ведь у меня заводной товарищ, верно?

— Верно, сынок. Правильно.

— Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди. Ты на меня гляди, ладно? Как прежде.

Прыгнули у Егора губы: не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле совладал:

— Чистоглазик ты мой…

— Ну, ладно, чего там, — сердито сказал Колька и отвернулся.

И правильно, что отвернулся, потому что у Егора в носу вдруг засвербило и сами собой две слезы по небритости проползли. Он смахнул их, заулыбался и заново начал свертывать цигарку. И пока свертывал ее, пока прикуривал, оба молчали: и отец, и сын. А потом Колька повернулся, сверкнул глазами:

— Какого я мужичищу у Нонны Юрьевны слушал, ну, тять! Голосище! Прямо как у слона.

К вечеру Харитина поросячьей утробы нажарила, напарила и на стол выставила. Егор в чистой рубахе в красном углу сидел: слева — подарки, справа — пол-литры. Каждого подарком встречал и граненым стаканчиком (лафитничков в обзаведении не имелось):

— Будь здоров, гость дорогой. Пей от горла, ешь от пуза, на подарочек радуйся.

Бригадиров и прорабов Харитина не собрала (а может, и не хотела), но Яков Прокопыч приперся.

— Зла на тебя, Полушкин, не держу, потому и пришел. Но закон уважаю сердечно. И тебя, значит, уважил, и закон уважаю. Такая у меня постановка вопроса.

— Садись, Яков Прокопыч, товарищ Сазанов. Испробуй нашего угощения.

— С нашим полным удовольствием. Все должно быть соблюдено, верно? Все, что положено. А что не положено, то фантазии. Бензином бы их полить да и сжечь.

Федор Ипатович тоже присутствовал. Но в себе был весь, сумраком занавешенный. И потому помалкивал: ел да пил. Но Якову Прокопычу ответил:

— Всем на чужом пожаре занятье по душе найдется. Кому тушить, кому глазеть, а кому руки греть.

Вскинулся Яков Прокопыч:

— Как понимать, Федор Ипатыч, это примечание?

— Законников надо жечь, а не фантазии. Собрать бы всех законников, да и сжечь. На очень медленном огне.

Разгореться бы тут спору, да Марьица не дала. Задергала мужа:

— Не спорь. Не встревай. Наше дело — сторона-сторонушка.

И Вовка с другого уха поддакнул:

— Может, лодка когда понадобится…

А Егор и не слышал ничего из своего красного угла. Подарки раздавал, водкой заведовал. Сам пил, других угощал:

— Пейте, гости дорогие! Федор Ипатыч, свояк дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился-засупонился? Улыбнись, взгляни бархатно, молви слово свое драгоценное.

— Слово? Это можно, — поднял Федор Ипатович стакан. — С прибылью, хозяин, тебя. И с догадкой: раз кругом все такие законники, без догадки не проживешь. Вот вывернулся ты, значит, и молодец. Да. Хвалю. Чиста душа в рай глядит.

— В рай? — закручинилась Харитина. — Там, где рай, не наш край. Нам до рая ста рублей не хватает.

Удивилась Марьица.

— Ты что это, Тина, каких таких ста? Кабанчика, поди, не без выгоды…

Крепилась Харитина. Весь день крепилась, а тут сдала. Взвыла вдруг по-упокойному:

— Ой, сестрица ты моя Марьица, ой, братец ты мой Федор Ипатович, ой, вы гости мои ласковые…

— Да ты что, что, Тина? Да погоди голосить-то.

— Да ведь два ста рублей — вся убоинка.

— Двести?.. — Федор Ипатович даже хлебушек уронил. — Двести рублей? Это ж как так получается? Это почем же килограмм идет?

— А почем бы ни шел, да весь вышел, — сказал Егор. — Пейте-ешьте, гости…

— Нет, погоди! — строго прервал Федор Ипатович. — Свежая свининка не баранинка. Да в это время, да в городе. Да по четыре рубля килограмм, вот как она идет! По четыре целковых — это я точно говорю.

Онемели за столом. А Яков Прокопыч поддакнул:

— Вокруг этой цены супруга моя рассказывала.

— Господи! — ахнула Харитина. — Господи, люди добрые!

— Погоди! — Федор Ипатович ладонью пристукнул: забыл с огорчения, что в гостях, не дома. — Так выходит, что на две сотни сам ты себя нагрел, Егор. Это ж при долгах, при начете, при семействе да при бедности — две сотни чужому дяде? Бедоносец ты чертов!..

Ахнул Егор суковатым своим кулаком по столешнице — аж стаканы подпрыгнули:

— Замолчь! Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так не сметь в моем доме считать да высчитывать, ясно-понятно всем? Я здесь хозяин, самолично. А я одно считать умею, кому избу сложить, кому крышу покрыть, кому окно прорубить — вот что я считаю. И сыну своему это же самое в жизни считать наказываю. Три сотки у меня земли, и эти три сотки по моим законам живут и моими счетами считают. А закон у меня простой: не считай рубли — считай песенки. Ясно-понятно всем? Тогда пой, Харитина, велю.

Молчали все, как пришибленные. Глядели на Егора, рты раззявив. Кольке это очень смешным показалось: он из-за стола в сени выскочил, чтоб отсмеяться там вволюшку.

— Спой, Тина, — сказал Егор. — Хорошую песню спой.

Всхлипнула Харитина. Подперла щеку рукой, пригорюнилась, как положено, и… И опять двинуло ее совсем не в ту сторону:

Ой, тягры-тягры-тягры,
Ой, тягры да вытягры!

Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул…

9

А на другой день на заготконторе объявление появилось. С газету размером. Печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыко липовое. Отмоченное и высушенное, по полтинничку за килограмм. Пятьдесят копеечек звонкими.

Егор долго объявление читал. Прикидывал: полтина за кило — это, стало быть, рублевка за два. Восемь рублей пуд: деньги. Большие суммы можно заработать, если каждый день по пять пудов из лесу таскать.

А Федор Ипатович ничего не прикидывал. Некогда было: как только узнал об этом, так и запрягать побежал. Сел на казенную тележку и в лес подался вместе с Вовкой. И с ножами навостренными: ему-то о разрешении на лыкодрание не хлопотать-стать. Да и в липняки сквозь завалы не ломиться: первый, известное дело, сливочки пьет, не снятое молочко. Вот так-то.

Ну, а Егор тем временем хлебал пустые щи и рассуждал, как хозяин:

— Восемь, стало быть, рубликов пуд. Это по-старому — восемьдесят. Зарплату в день заработать

можно, ежели, значит, подналечь.

Харитина не спорила: с поросячьих поминок притишела она. По дому сновала, по поселку суетилась, по знакомым бегала. Хлопотала чего-то, добивалась, о чем-то просила. Егор был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось. Годилось гордость мужскую соблюдать в нерушимости.

А насчет лыка обману не было. Брали, кто пошустрее, разрешение у лесника — это у Федора, стало быть, Ипатовича, — в субботу-воскресенье спозаранку в лес отправлялись. Туда — спозаранку, оттуда — с вязанкой. Конечно, с вязанкой на горбу да впоперек буреломов много рублей не вытянешь, это понятно. Но если у кого мотоцикл — до двадцати пяти килограммов выхватывали. Неделю мочили, сучили, сушили и — в контору. Пожалуйте взвешивать.

Ну, Федор Ипатович на мелочи не разменивался: в первую же ночь воз из лесу выкачал. Еле лошадь доперла. И — вот голова мужик! — не в поселок, не к дому-пятистеночке: зачем лишнее обозрение? В воду кобылу загнал, там ее распряг, а воз вместе с лыком мокнуть оставил: телега не мотоцикл, ничего ей не сделается. И кобыле облегчение, и разговоров никаких, и вода про-

дукцию прямо в телеге до кондиции доводит. Доведет — впряжем лошадь и все разом на берег. Растрясти да просушить — это и Марьица сделает. Тем более в лесном его хозяйстве еще одна телега имелась: только лошадь перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает.

Три воза Федор Ипатович таким манером из лесу доставил, пока свояк его умом раскидывал. Уставал, конечно: работа поту требует. И Вовку измучил, и себя извел, и кобылу издергал. Вовка прямо у порога падал, и мать его, сонного, в кровать волокла. А сам исключительно настоечкой держался: на укропе настоечка. Укрепляет. И только лафитничек опрокинул (Марьица и графинчик-то со стола убрать не поспела), только, значит, принял во здравие: здрасьте вам, Егор Полушкин. Собственной небритой персоной.

— Приятного вам угощения.

Крякнул Федор Ипатович — нет, не с лафитничка — с огорчения.

— Садись к столу, свояк дорогой, купец знаменитый.

Это в насмешку, но Егор на насмешку и внимания не обратил, на другое его внимание устремилось. Закивал, заблагодарил, заулыбался и к дверям оборотился: кепку повесить. А когда

повесил и к столу шагнул, пиджак одергивая, то аж заморгал: нету графинчика-то. Ни графинчика, ни лафитничка: одна картошка на столе. Правда, с салом.

— Я ведь по делу-то к тебе, Федор Ипатыч.

— Ты поешь сперва. Дело обождет.

Поели. Марьица чай подала. Попили. Потом закурили и к делу подошли:

— Справку мне, свояк, надо бы. Насчет, значит, лыка. Полтинник за килограмм.

— Полтинник? — поразился Федор Ипатович. — Богатая у нас держава: направо — полтина, налево — полтина.

— Так ведь пока дают.

Посопел Федор Ипатович. Повздыхал строго.

— Бесхозяйственность, — сказал. — Лес тот заповедный, водоохранным называется. А мы его голим.

— Дык ведь…

— Обдерешь ты, скажем, липку. А она засохнет. Тебе прибыток, а государству что? Государству — потеря.

— Верно-правильно. Только ведь как драть. Если умеючи…

— Не думаем о государстве, — опять закручинился хозяин. — О России не думаем совершенно.

А надо бы нам думать.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой надо!

Вздохнули оба, задумались. В цигарки уставились.

— Лыко умеючи драть надо, это ты, свояк, верно сказал. Но и с перспективой. Чтоб, значит, в грядущее. Об этом думать надо.

— Это мы понимаем, Федор Ипатыч.

— Ну, ладно, так и быть. По-свойски отпущу тебе такую бумажку. Учитывая бедственное положение.

Правильно Федор Ипатович учитывал: было такое положение. Хоть и расплатился уже Егор сполна за утопленный мотор, но на прежней работе — на тихой да уважительной пристани — не остался. Сам ушел, по собственному желанию:

— Такой, стало быть, мой принцип, Яков Прокопыч.

И опять бегал куда пошлют, делал что велят, исполнял что прикажут. И старался как мог. Даже и не старался: стараются — это когда специально, когда себя насилуют, чтоб только все нормально сошло. А у Егора и в мыслях не было что-либо плохо сделать, где-либо словчить, на авось сотворить, кое-каком отделаться. Работал он всю жизнь и за страх и за совесть, а что не всегда

все ладно выходило, так то не вина его была, а беда. Талант, стало быть, такой у него был, какой отроду достался.

Но в субботу — только туман рваться начал, над землей всплывая, — взял Егор веревок побольше, ножи навострил, топоришко за пояс засунул и подался в заповедный тот лес. За лыком, что ценилось по полтиннику за килограмм. И Кольку с собой прихватил: лишний пуд — лишние восемь целковых. Впрочем, лишнего у него ничего еще не бывало.

— Липа — дерево важное, — говорил Егор, шагая по заросшей лесной дороге. — Она в прежние-то времена, сынок, пол-России обувала, с ложечки кормила да сладеньким потчевала.

— А чего у нее сладкое?

— А цвет. Мед с цвету этого особый, золотой медок. Пчела липняки уважает, богатый взяток берет. Самое полезное дерево.

— А береза?

— Береза — она для красоты.

— А елка?

— Это для материала. Елка, сосна, кедр, лиственница. Избу срубить или, скажем, какое полезное строение. Каждое дерево, сынок, оно для пользы: бездельных природа не любит. Кто для человека

растет, на его нужду, а кто для леса, для зверья всякого или для гриба, скажем. И потому, прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь: лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидишь — себя накажешь: уйдут они из леса-то порубленного, и ничем ты их назад не заманишь.

Хорошо было им идти по этой глухой дорожке, шлепать босыми ногами по росистой траве, слушать птиц и говорить об умной природе, которая все предусмотрела и все сберегла на пользу всему живому. К тому времени уж и солнышко вынырнуло, шишки на елях вызолотив, и шмели в траве запели. Колька на каждом повороте на компас смотрел:

— К западу свернули, тятя.

— Скоро дойдем. Я почему, сынок, в дальний-то липняк навостряюсь? А потому, что ближний-то больно уж красив. Больно в силе он состоит, цветущ больно, и трогать его не надо. Лучше вглубь сходим: ног нам не жалко. А липняк этот пусть уж цветет пчелам на радость да народу на пользу.

— Тять, а шмели к липе летят?

— Шмели? Шмели, сынок, все больше понизу стараются: тяжелы больно. Клевера обхаживают, цветы всякие. В природе тоже свои этажи име-

ются. Скажем, трясогузка, она по земле шастает, а ястреб в поднебесье летает. Каждому свой этаж отпущен, и потому никакой тебе суеты, никакой тебе толкотни. У каждого свое занятие и своя столовка. Природа, она никого не обижает, сынок, и все для нее равны.

— А мы, как природа, не можем?

— Дык это… Как сказать, сынок. Должны бы, конечно, а не выходит.

— А почему не выходит?

— А потому, что этажи перепутаны. Скажем, в лесу все понятно: один родился ежиком, а другой — белкой. Один на земле шурует, вторая с ветки на ветку прыгает. А люди, они ведь одинаковыми рождаются. Все, как один, голенькие, все кричат, все мамкину титьку требуют да пеленки грязнят. И кто из них, скажем, рябчик, а кто кобчик — неизвестно. И потому все на всякий случай орлами быть желают. А чтоб орлом быть, одного желания мало. У орла и глаз орлиный, и полет соколиный… Чуешь, сынок, каким духом тянет? Липовым. Вот аккурат за поворотом этим…

Аккурат завернули они за поворот, и замолк Егор. Замолк, остановился в растерянности, глазами моргая. И Колька остановился. И молчали оба, и в знойной тишине утра слышно было,

как солидно жужжат мохнатые шмели на своих первых этажах.

А голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам.

— Сгубили, — тихо сказал Егор и снял кепку. — За рубли сгубили, за полтинники.

А пока отец с сыном, потрясенные, стояли перед загубленным липняком, Харитина в намеченной ею самой дистанции последний круг заканчивала. К финишу рвалась, к заветной черте, за которой чудилась ей жизнь если и не легкая, то обеспеченная.

При всей горластости характеру ей было отпущено не так уж много: на мужа кричать — это пожалуйста, а кулаком в присутственный стол треснуть — это извините. Боялась она страхом неизъяснимым и столов этих, и людей за столами, и казенных бумаг, и казенных стен, увешанных плакатами аж до потолка. Входила робко, толклась у порога: и требовать не решалась, и просить не умела. И, испариной от коленок до мозжечка покрываясь, талдычила:

— Мне бы место какое. Зарплата чтоб. А то семья.

— Профессией какой владеете?

— Какая у меня профессия? За скотом ходила.

— Скота у нас нет.

— Ну, мужики-то есть? За ними уход могу. Помыть, постирать.

— Ну, да у вас, Полушкина, редчайшая профессия! Паспорт с собой? — В документ глядели, хмурились. — Дочка у вас ясельная.

— Олька.

— Яслей-то у нас нет. Ясли — в ведении Петра Петровича. К нему ступайте: как решит.

Шла к Петру Петровичу: на второй круг. От Петра Петровича — к Ивану Ивановичу на третий. А оттуда…

— Ну, вот что: как начальник скажет. Я в принципе не возражаю, но детей много, а ясли одни.

Этот круг был последним, финишным: к черте подводил. И за той чертой — либо твердая зарплата два раза в месяц, либо конец всем мечтам. Конца этого Харитина очень пугалась и потому с утра готовилась к свиданию с последним начальником со всей женской продуманностью. Платье новое по коленки окоротила, нагладилась, причесалась как сумела. И еще сумочку с

собой прихватила, сестрицы подарок, Марьицы, к именинам. А Ольгу учительнице Нонне Юрьевне подкинула: пусть тренируется. Своих пора заводить, чего там. Выгулялась.

Ни жива ни мертва Харитина дверь заветную тронула: будто к царю Берендею шла или к Кощею Бессмертному. А за дверью вместо Кощея с Берендеем — дева с волосами распущенными. И коготки по машинке бегают.

— Мне к начальнику. Полушкина я.

— Идемте.

Умилилась Харитина: до чего вежливо. Не «обождите», не «проходите», а «идемте». И сама в кабинет проводила.

Начальник — пожилой уже, в черных очках — за столом сидел, как положено. Перед собой смотрел, но строго ли — не поймешь: в очках ведь как в печных заслонках.

— Товарищ Полушкина, — сказала дева. — По вопросу трудоустройства.

И вышла, облаком сладким Харитину обдав. А начальник сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полушкина. Присаживайтесь.

И руку поперек стола простер. Не ей — она с краю стояла, — а точнехонько поперек, и Хари-

тине шаг в сторону пришлось сделать, чтобы руку эту пожать.

— Значит, никакой специальности у вас нет?

— Я по хозяйству больше.

К тому, что в каждом новом месте, у каждого нового начальника ее об одном и том же спрашивали, Харитина быстро привыкла. И частила сейчас:

— По хозяйству больше. Ну, в колхозе пособляла, конечно. А так — дети ведь. Двое. Олька — младшенькая: не оставишь. А тут кабанчика зарезать пришлось…

Слушал начальник, головой не ворочал, а куда смотрел — неизвестно, и как смотрел — тоже неизвестно. И потому путалась Харитина, плела словеса вместо сути и до того доплелась, что и остановиться не могла. И детей, и мотор, и кабанчика, и непреклонного товарища Сазанова, и собственного мужа-бедоносца — всех в одну вязь повязала. И сама в ней запуталась.

— Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа?

— Так ведь без яслей не наработаешь: дочку девать некуда. Не вечно ж мне Нонну-то Юрьевну беспокоить.

Ох, знать бы, куда смотрит да как поглядывает!

— Ну, а если мы дочку вашу в ясли определим, куда устроиться хотите? Специальность получить или так, разнорабочей?

— Как прикажете. Сторожить чего или в чистоте содержать.

— Ну, а желание-то у вас есть хоть какое-нибудь? Ведь есть же, наверно?

Вздохнула Харитина:

— Одно у меня желание: хлеба кусок зарабатывать. Нет у меня больше на мужа моего надежды, а детишек ведь одеть-обуть надо, прокормить, обучить надо да на ноги поставить. Да Олька мне руки повязала: не оставлять же ее ежедень на Нонну Юрьевну.

Улыбнулся начальник.

— Устроим вашу Ольку. Где тут заявление-то ваше? — И вдруг руками по столу захлопал, головы не поворачивая. Нашарил бумажку. — Это?

Встала Харитина.

— Господи, да ты никак слепой, милый человек?

— Что поделаешь, товарищ Полушкина, отказало мне зрение. Ну, а хлеб, как вы говорите, зарабатывать-то надо, правда?

— Учеба, поди, глазыньки-то твои съела?

— Не учеба — война. Сперва-то я еще видел ма-

ленько, а потом все хуже да хуже. И — до черноты. Так это ваше заявление?

Запрыгали у Харитины губы, запричитать ей хотелось, завыть по-бабьи. Но сдержалась. И руку начальнику направила, когда он резолюцию накладывал, по-прежнему уставя свои черные очки в противоположную стену кабинета.

А пришла домой — муженек с сынком, как святые, сидят, не шелохнутся.

— А лыко?

— Нету лыка. Липа голая стоит, ровно девушка. И цвет с нее осыпается.

Не закричала Харитина почему-то, хоть и ждал Егор этого. Вздохнула только:

— Обо мне слепой начальник больше заботы оказывает, чем родной мужик.

Обиделся Егор ужасно. Вскочил даже:

— Лучше бы лесу он заботу оказывал! Лучше бы видел он ограбиловку эту поголовную! Лучше б лыкодралов тех да за руку!..

Махнул рукой и ушел во двор. Покурить.

10

Мысль обмануть судьбу на лыковом поприще была у Егора последней вспышкой внутреннего протеста. И то ли оттого, что была она последняя и в запасе больше не имелось протестов, то ли просто потому, что крах ее больно уж был для него нагляден, Егор поставил жирный крест на всех работах разом. Перестал он верить в собственное везенье, в труд свой и в свои возможности, перестал биться и за себя, и за семью и — догорал. Ходил на работу исправно, копал что велели, зарывал что приказывали, но делал уже все нехотя, вполсилы, стараясь теперь, чтоб и велели поменьше, и приказывали не ему. Смирно сидел себе где-либо подальше от начальства, курил, жмурился на солнце и ни о чем уже не хотел думать. Избегал дум, шарахался от них. А они лезли.

А они лезли. Мелкие думы были, извилистые, черные, как пиявки. Сосали они Егора, и не поспевал он смахивать одну, как впивалась другая, отбрасывал другую, так присасывалась третья, и Егор только и делал, что отбивался от них. И не было душе его покоя, а вместо покоя — незаметно,

исподволь — росло что-то неуловимо смутное, то, что сам Егор определил одним словом: зачем? Много было этих самых «зачем?», и ни на одно из них Егор не знал ответа. А ответ нужен был, ответ этот совесть его требовала, ответ этот пиявки из него высасывали, и, чтоб хоть маленько забыться, чтоб хоть как-то приглушить шорох этот в сердце своем, Егор начал попивать. Потихонечку, чтоб супруга не ругалась, и по малости, потому что денег не было. Но если раньше он каждую копейку норовил в дом снести, как скворец какой, то теперь он и по рублевочке из дому потаскивал. Потаскивал и на троих соображал.

И враз друзья объявились: Черепок да Филя. Черепок лысым сплошь был, как коленка, нос имел — огурец семенной да два глаза — что две красных смородины. И еще — рот, из которого мат лился и в который — водка. С хлястом она туда лилась, будто не глотка у Черепка была, а воронка для заправки. Без пробки и без донышка.

Филя так не умел. Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал:

— Не для пьянства пьем, а только чтоб не отвыкнуть.

Филя над стаканом поговорить любил, и это всегда Черепка раздражало: он к заправке рвался.

Но Филя ценил не результат, а процесс и потому старался пить последним, чтоб на пятки не наступали. Выливал остаточки, бутылкой до тринадцатой капли над стаканом тряс и рассуждал:

— Что в ей находится, в данной жидкости? В данной жидкости — семь утопленниц: горе и радость, старость и младость, любовь, да совет, да восемнадцать лет. Все я вспоминаю, как тебя выпиваю.

А Егор пил молча. Жадно пил, давясь: торопился, чтоб пиявки повыскочили. Не затем, значит, чтоб вспомнить, а затем, чтоб забыть. У кого что болит, тот от того и лечится.

Помогало, но ненадолго. А поскольку продлить хотелось — деньги требовались. Шабашить научился: Черепок на это мастак был великий. То машину разгрузить подрядится, то старушке какой забор поправить, то еще что-нибудь удумает. Шустрый был, пока тверезый. А Егор злился:

— На работу бы тебя наладить с ускоком твоим, не на шабашку.

— Работа не убежит: ополоснемся — доделаем. А не доделаем, так и…

И пояснял, что следовало. А Филя черту подводил:

— Машины должны работать. А люди — ум-

ственно отдыхать.

Однако случалось, что и сам Черепок не мог шабашки организовать. Тогда делали что велено, ругались, ссорились, страдали, а пиявки так донимали Егора, что бросал он лопату и бежал домой. Благо Харитина теперь судомойкой в столовке работала и засечь его не могла. Тянул Егор с места заветного рублевку, а то и две — и назад, к друзьям-товарищам.

— Что в ей находится, в данной жидкости?

Слезы там находились: как ни занята была Харитина домом, детьми да работой, а рублевки считала. И понять не могла, куда утекли они, и на Кольку накинулась под горячую руку:

— Ах ты, вор, хулиган ты бессовестный!..

И ну драть. За волосы, за уши — всяко, за что ни попадя. И сама ревет, и Олька ревет, и Колька ойкает. Егору бы смолчать тут, да больно глаз-то у сынка растерянный был. Больно уж в душу глядел глаз-то этот.

— Я деньги те взял, Тина.

Сказал и испугался. Прямо до онемения: чего врать дальше-то? Чего придумывать?

— За-ачем?

Слава богу, не сразу спросила, а как бы в два приема. И Егору сообразить время дала, и Кольку

выпустила. Утер Колька нос, но не убежал. На отца глядел.

— Я это… Мужику одолжил знакомому. Надобно ему очень.

— Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-то жить на что, бедоносец ты чертов? Молчишь? А ну, сей момент надевай шапку, к нему устремляйся, да и стребуй!

Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать начнет. Это уж точно.

— Кому сказано, тому велено!

Надел Егор шапку, вышел за ворота. Куда податься? К свояку разве, к Федору Ипатовичу в ноги бухнуться? Тогда, может, и даст, но ведь запилит. Занудит ведь. Стерпеть разве? А ну как не даст, а потом Харитине же и расскажет? Ну, а еще куда податься? Ну, а еще некуда податься.

Размышляя так, Егор совершил по поселку круг и назад домой прибыл. Скинул шапку и бухнул с порога:

— Утек он, мужик этот. Уволился из нашего населения.

Набрала Харитина в грудь воздуха — аж грудь та выпятилась, как в те сладкие восемнадцать лет, про которые в песне поется да которые Филя

в стаканчике ищет, на донышке. И понесла:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов…

Понурил Егор голову, слушал, на сына поглядывая. Но Колька не на него глядел и не на мать — на компас. Глядел на компас и не слышал ничего, потому что завтра должен был компас этот бесценный отдать за здорово живешь.

А всему виной Оля была. Не сестренка Ольга, а Оля Кузина, с ресницами и косичкой. Вовка ее часто за эту косичку дергал, а она смеялась. Сперва ударит, будто всерьез, а потом зубки покажет. Очень Кольке нравилось, как она смеется, но о том, чтоб за косу ее потрогать, — об этом он даже помечтать не решался. Только смотрел издали. И глаза отводил, если она ненароком взглядывала.

Теперь они редко встречались: каникулы. Но все же встречались — на речке. Правда, она за кустами купалась с девчонками, но смех ее и оттуда Колькиных ушей достигал. И тогда Кольке очень хотелось что-нибудь сделать: речку переплыть, щуку за хвост поймать или спасти кого-нибудь (лучше бы Олю, конечно) от верной гибели. Но речка была широкой, щука не попадалась, и никто не тонул. И потому он только нырянием хвастался, но она на ныряния его внимания не

обращала.

А вчера они с Вовкой на новое место купаться пошли, и Оля Кузина за ними увязалась. На берегу первой платьишко скинула — и в воду. Вовка за ней навострился, а Колька в штанине запутался и на траву упал. Пока выпутывался, они уж в воде оказались. Хотел он за ними броситься, поглядел и не полез. Отошел в сторонку и сел на песок. И так муторно ему вдруг стало, так тошно, что ни вода его не манила, ни солнышко. Помрачнел мир, будто осенью. Вовка Олю эту Кузину плавать учил. И показывал, и поддерживал, и рассказывал, и кричал:

— Дура ты глупая! Чего ты сразу всем дрыгаешь? Давай подержу уж. Так и быть.

И Олька его слушалась, будто и впрямь дурой была. Знала ведь, что Колька куда как получше Вовки плавает и глубины не боится, а вот пожалуйста. У Вовки и училась да еще хихикала.

Так Колька в воду и не полез. Слушал смехи эти да Вовкины строгости, придумывал, что ответить, если Оля все же опомнится и в воду его позовет. Но Оля не опомнилась: бултыхалась, пока не замерзла, а потом выскочила, схватила платье и в кусты побежала трусики выжимать. А Вовка к нему подскочил. Шлепнулся на живот,

глаза вытаращив:

— А я Ольку за титьки хватал!

Сколько там в Колькином теле крови было — неизвестно, а только вся она сейчас в лицо ему ударила. Аж под ложечкой защемило от бескровия:

— У ней же нету их…

— Ну и что? А я там, где будут!

Бога Колька молил, чтоб снег пошел, чтоб гроза вдруг ударила, чтоб ветер-ураганище. И помогло: ничего такого, правда, не произошло, но Оля в воду больше не полезла, как Вовка ни настаивал.

— Нет и нет. Мне мама не велит.

Много ли радости человеку надо? «Нет» сказала, и Колька сразу все позабыл: и купание, и смех ее, и Вовкины нехорошие слова. Врал Вовка, ну конечно же, врал, вот и все! И Колька по берегу уже не молчком шагал, а рассказывал про жаркие страны. Про моря, на которых никогда не был, и про слонов, которых никогда не видал. Но так рассказывал, будто и был, и видал, и Олины глазки еще шире раскрывались.

А Вовка очень сердился и поэтому шел сзади. И не след в след — вот еще, охота была! — а сбоку, прямо по кустам. Нарочно ломал их там и шумел тоже нарочно.

— Они знаешь какие умные, слоны-то? Они все-все понимают, да! Они и на работу по гудку, как люди, и на обед.

— Надо же! — Это так Олина мама удивлялась, ну и Оля тоже. — А их едят?

Вздохнул Колька: ох, не о том ты спрашиваешь, что интересно. Подумал:

— Дорого.

— Вот бы меня кто слоном угостил! Ну ничего бы ему не пожалела за это, ну ничегошеньки!

Нет, даже за такую сказочную плату Колька не стал бы губить для нее слона. Нет, не для того слоны на свете живут, чтобы их девчонки ели. Даже если и очень красивые.

Это он подумал так. А сказал политично:

— У нас совсем этого достать невозможно. Ни за какие деньги.

— Слона нашел! — вдруг заорал Вовка. — Местного!

Из кустов выломился и щенка приволок. Худой щенок был, заброшенный, и ухо ему кто-то оборвал. По морде то ли вода текла, то ли слезы, а языком он все норовил Вовкину руку лизнуть. Маленьким языком. Неумелым.

— Гадость какая паршивая! — Оля Кузина даже за Кольку спряталась. — Шелудивый он. Дохляк.

— Утопим, — сказал Вовка с удовольствием. — Может, он бешеный.

— А как же утопишь? — Оля из-за Кольки высунулась, и в глазах ее зажглось что-то остренькое. — В воду бросишь?

— Чай, выплывет, если так-то. Подержи-ка, я камень поищу.

Он щенка Кольке сунул, но Колька попятился и руки спрятал. И еще сказать что-то пытался, но слова вдруг провалились куда-то. И пока Вовка со щенком в руках на берегу камень искал, Колька все время слова вспоминал. Очень нужные слова, горячие очень — только не было их.

И камней тут тоже не было, как Вовка ни старался, Колька уж обрадовался тихонечко, уж сказал сдавленно: «Жалко...» — как Вовка заорал радостно:

— Не надо мне никакой кирпичины, не надо! Я в воду залезу, а его ко дну прижму. Он враз наглотается!

И к берегу побежал. А у Кольки опять горло перехватило, и опять слова провалились куда-то. И тогда он просто догнал Вовку и за трусы схватил у самой воды.

— Пусти! — Вовка рванулся, аж резинка его по заду щелкнула. — Я нашел, я и зачурался, вот! И

что хочу теперь, то с ним и сделаю.

— Он нашел, он и зачурался, — подтвердила Оля Кузина. — И теперь что хочет, то с ним и сделает. И пусть уж лучше утопит: интересно.

— Герасим и Муму! — объявил Вовка и опять в воду полез.

— Отдай, — попросил Колька тихо. — Отдай мне его. Отдай, а? Я тебе что хочешь за него дам. Ну, что сам захочешь.

— А что у тебя есть-то? — пренебрежительно спросил Вовка, но, однако, остановился, не полез вглубь. — Ничего у вас теперь нету, кроме долгов: папка так говорит.

— Кроме долгов! — засмеялась Оля Кузина (а смех у нее — будто бубенчик проглотила). — Ничего у них нет, ничегошеньки: даже кабанчика!

— Отдай. — Колька вдруг дрожать стал, словно только-только из воды вылез, нанырявшись. — Ну, хочешь… Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, не топи только животную. Жалко.

— Жалко ему! — засмеялась Оля Кузина. — Жалко у пчелки!..

Но Вовка не засмеялся, а поглядел.

— Насовсем? — спросил: недоверчив был, весь в Федора Ипатовича.

— Честное-железное, — подтвердил Колька. — Чтоб мне не купаться никогда.

Молчал Вовка. Соображал.

— Да на что ему компас-то твой? — спросила Оля Кузина. — Очень он ему нужен, компас-то! И всего-то он, поди, копеек восемьдесят пять стоит. А щенок знаешь сколько? Ого! И не укупишь, вот сколько.

— Я не за щенка, — пояснил Колька, а на сердце так скверно стало, что хоть заплачь. И компаса жалко, и щенка жалко, и себя почему-то тоже жалко, и еще чего-то жалко, а вот чего — никак Колька понять не мог. И добавил: — Я за то только компас дам, чтоб не топил ты его никогда.

— Это конечно, — солидно сказал Вовка. — Компас за щенка мало.

И щенка на руке покачал, будто прикидывая.

— Я не насовсем, — вздохнул Колька. — Пусть у тебя живет, если хочешь. Я за то только, чтоб ты не топил.

— Ну, за это… — Вовка похмурился по-отцовски, повздыхал. — За это можно. Как считаешь, Олька?

— За это можно, — сказала.

И слов-то у нее своих не было — вот что особо горько. Его слова повторяла, как тот попугай

говорящий, про которого Колька читал в книжке «Робинзон Крузо».

— Ладно, только пусть покуда у меня живет, — важно сказал Вовка. — А компас завтра принесешь: Олька свидетельница.

— Свидетельница я, — сказала Олька.

На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька к маме убежала, а Колька с компасом пошел прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает.

На север она указывала.

11

Без кола да без двора — бобыль человек. Таких и Федор Ипатович не уважал, и Яков Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается? Одни фантазии.

А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме книжек, пластинок да девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала — даже Харитине Полушкиной: у той Колька за столом щи наворачивал да Олька молочко потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он, муж этот.

Никому в зависти этой — звонкой, как первый снежок, — никому Нонна Юрьевна не признавалась. Даже себе самой, потому что зависть эта в ней жила независимо от ее существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. И если бы кто-нибудь Нонне Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверно, с ходу окочурилась. Кондратий бы ее хватил от такого открытия. Ну, а хозяйка ее, у которой она комнату снимала — востроносенькая, востроглазенькая да востроухонькая, — так та хозяйка

все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам давным-давно языком трясла:

— Подушки грызет, товарочки, сама в щелку видела, вот те крест. Кровь в ней играет.

А товарочки головами согласно кивали:

— Пора бы уж: перестоится девка. Мы-то первых своих когда рожали-то? Ай-ай, по бабьим срокам ей бы уж третьего в зыбке качать.

Вот с таких-то разговоров да шепотков Нонне Юрьевне и житье-то пошло не в житье, а в вытье. Никогда она для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась, а тут вдруг понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось да настойчивость: не сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась.

— Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде.

— В каком угодно!

Душа продрогшая о крыше не думает: ей стены нужны. Ей от глаз-сосулек укрыться нужно, и если при этом сверху капает — пусть себе капает. Главное, стены есть. Есть где отплакаться.

Отплакалась Нонна Юрьевна с огромным удовольствием и большим облегчением: даже улыбаться начала. А как слезки высохли, так и сверху полило: дождь начался и без всяких

препон комнаты ее собственной достиг. Все тазы и все кастрюли переполнил и породил в почти безмятежной голове Нонны Юрьевны мысли вполне практического направления.

Однако направление это, как выяснилось, в тупик вело:

— На ремонт все лимиты исчерпаны.

— Но у меня протекает потолок. Просто как душ, знаете.

Улыбнулись покровительственно.

— То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для другого приспособлен. А крыша, она, конечно, может. Все правильно, в будущем году ставим вас на очередь.

— Но послушайте, пожалуйста, там же совершенно невозможно жить. Там с потолка ручьем течет вода и…

— А мы вас насчет аварийного состояния предупреждали, у нас и документик имеется на этот счет. Так что сами вы во всем виноваты.

Вот так и перестал человек улыбаться: не до улыбок тут, когда в комнате — собственной, выстраданной, вымечтанной и выплаканной! — в комнате этой опята растут. Хоть соли их и грузи бочками в прекрасный город Ленинград. Маме.

Но повезло. Правда, втайне Нонна Юрьевна

считала себя счастливой и поэтому даже не удивилась везению. Просто встретился ей у этого лишенного лимитов тупика некий очень приветливый гражданин. Лысый и великодушный, как древний римлянин.

— Эка невидаль, что текет. Покроем!

И покрыл. Так покрыл, что хоть святых выноси. Но и к этому способу общения Нонна Юрьевна как-то уже притерпелась. И даже научилась не краснеть.

— У меня бригада — ух, работает за двух, жрет за троих, а пьет сколько поднесут. Так что готовь бутылку для заключения трудового соглашения.

Спиралью от древнего римлянина несло — комары замертво падали. Оно, конечно, правильно: человечество по спирали развивается, но эта, конкретная, такой пахучей была, что Нонна Юрьевна на всякий случай переспросила:

— Какую бутылку, говорите?

— Натуральную-минеральную, раскудри ее в колдобину и распудри в порошок!..

Пока Нонна Юрьевна за натуральной бегала, гражданин древний римлянин на носках к пустырю припустил:

— Есть шабашка, мужики, раскудрить вашу, распудрить. Дуру какую-то бог нанес: хата у нее

текет. Дык мы ее поллитрами покроем, родимую. По-фронтовому, в три наката. Чтоб и не капала, зараза, на хорошего человека!..

День тот в смысле просветления душ с утра не задался, и мужики были злыми. Пока Черепок насчет шабашки колбасился, землю на пустыре для какого-то туманного назначения перелопачивали и цапались:

— Ты стенку-то оглаживай. Оглаживай, говорят тебе!

— А чего ее оглаживать? Не баба.

— А того, что осыплется, вот чего!

— Ну и хрен с ней, с осыпленной. Ты бы, Егор, заместо указаний в смыслах оглаживания данной канавы домой бы смотался и супругу бы законную огладил бы на пару рубликов. И природа бы нам за это улыбнулась.

Промолчал Егор. Хмуро стенку свою оглаживал, землю со дна выгребал. Но хоть и оглаживал по привычке и выгребал по аккуратности, а той легкости, запоя того рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров да переболтов, восторга того неистового перед делом рук своих он уже не испытывал. Давно не испытывал и делал ровнехонько настолько, чтоб наряд закрыли, даже если и с руганью.

А молчал он потому, что после того случая с враньем про неизвестного мужика, который утек из местного населения с якобы одолженными ему рублями, после Харитининых слез да Колькиных глаз зарекся он копеечку из дому брать. Сам себе слово такое дал и даже перекрестился тайком, хотя в бога не веровал. И пока держался. Держался за слово свое да за тайное крестное знамение как за последний спасательный круг.

Ну, а тут Черепок прибежал и вестью радостной огорошил. Насчет крыши, что над дурой девкой так вовремя протекла.

— Шабаш, мужики!

Враз пошабашили. Обрадовались, лопаты в канаву покидали и к речке ударились: умыться. А умывшись, подались заключать трудовое соглашение, заранее ощущая в животах волнующую пустоту.

Издали еще Егор пятистеночку эту угадал: половина шифером крыта, половина травой заросла и их, стало быть, теперь касалась. Сруб глазом окинул: гнилью, однако, еще не тронуло сруб-то, и при умелом топоре да добром взгляде обновить домишко этот труда особого не составляло. Крышу перекрыть да полы перестелить, и вся недолга.

Это он думал так, плотницким глазом работу прикидывая. Думал да помалкивал, потому что это не просто работа была, а шабашка, и говорить об истинном размере труда тут не приходилось. Тут полагалось раздувать любое хозяйское упущение до масштабов бедствия, пугать полагалось и стричь с испугу этого дикую шабашскую деньгу. Не учитываемый ни государством, ни бухгалтерией, ни фининспекцией, ни даже женами мужской подспудный доход.

А еще он подумал, что надо бы крыльцо поправить и косяки заменить. И навес над крыльцом надо бы уделать по-людски и... И тут дверь кособокая распахнулась, и Черепок сказал радостно:

— Бригада ух! Здравствуй, хозяйка, кажи неудобства, раскудрить их...

— Здравствуйте, — очень приветливо сказала хозяйка. — Проходите, пожалуйста.

Все и прошли, а Егор на крыльце застрял. В полном онемении: Нонна Юрьевна. Это к ней тогда Колька прибежал — к ней, не к родимой матери. Пластинки слушал: голос, говорит, как у слона...

Затоптался Егор — и в хату не шел, и бежать не решался. И совестно ему было, что в такой компании в дом ее вваливается, да с таким делом, и думалось где-то, что хорошо еще, он в плотниц-

кой работе соображение имеет.

— Егор Савельич, что же вы не проходите?

Узнала, значит. Вздохнул Егор, сдернул с головы кепку и шагнул в прогнившие сени.

Натуральную трескали. Под какого-то малька в томате, что ныне важно именовался частиком. Филя палец оттопыривал:

— Сколько их, земных неудобств, или, сказать, неудовольствий: кто счесть может? Мы можем, рабочие люди. Потому как всякое неудобство и неудовольствие жизни через наши руки проходит. Ну, а что руки пощупали, того и голова не забудет: так, что ли, молодая хозяюшка? Хе-хе. Так что выпьем, граждане-друзья-товарищи, за наши рабочие руки. За поильцев наших и частично кормильцев.

Черепок молча пил. Обрушивал стакан в самый зев, крякал оглушительно и рукавом утирался. Доволен был. Очень он был доволен: редкая шабашка попалась. Дура дурой, видать.

А Егор пить не стал. — Благодарствую на угощении. — И кружку отодвинул.

— Что же вы так категорически отказываетесь, Егор Савельич?

— Рано, — сказал.

И на Филю — тот уже второй раз мизинец от-

топыривать примеривался, — на Филю в упор посмотрел. И добавил:

— За руки рабочие выпить — это мы можем. Это с полным нашим уважением. Только где они, руки эти? Может, мои это руки? Нет, не мои. Твои, может, или Черепка? Нет, не ваши. Шабашники мы, а не рабочие. Шабашники. И тут не радоваться надо вовсе, а слезой горючей умываться. Слезой умываться от стыда и позора.

Нонна Юрьевна так смотрела, что глаза у нее стали аккурат в очковины размером. Филя лоб хмурил, соображая. А Черепок… Ну, Черепок, он Черепок и есть: второй стакашек в прорву свою вылил и рукавчиком закусил.

— Осуждаешь, значит? — спросил наконец Филя и рассмеялся, но не от веселья, а от несогласия. — Вот, товарищ учительница, вот, товарищ представитель передовой нашей интеллигенции, какая, значит, у нас здоровая самокритика. И действует она ядовито. До первого стаканчика. А после данного стаканчика самокритику мы забываем, и начинается у нас одна сплошная критика. Что скажешь, бывший рабочий человек Егор Полушкин?

Испугалась вдруг Нонна Юрьевна. Чего испугалась, не понял Егор, а только увидел: испугалась.

И заулыбалась торопливо, и глазками заморгала, и захлопотала, себя даже маленько роняя:

— Закусывайте, товарищи, закусывайте. Наливайте, пожалуйста, наливайте. Егор Савельич, очень я вас прошу, выпейте рюмочку, пожалуйста.

Посмотрел на нее Егор. И столько тоски в глазах его было, столько боли и горечи, что у Нонны Юрьевны аж в горле что-то булькнуло. Как у Черепка после стаканчиков.

— Выпить мне очень даже хочется, Нонна Юрьевна, учителка дорогая. И пью я теперь, когда случай выйдет. И если б вдруг тыщу рублей нашел — все бы, наверно, враз и пропил. Пока бы не помер, все бы пил и пил и других бы угощал. Пейте, говорил бы, гости дорогие, пока совесть ваша в вине не захлебнется.

— Ну, дык, найди, — сказал вдруг Черепок. — Найди, раскудри ее, эту тыщу.

Глянул Егор на Нонну Юрьевну, глаз ее перепуганный уловил, руки задрожавшие и все понял. Понял и, взяв кружечку отодвинутую, сказал:

— Позвольте за здоровье ваше, Нонна Юрьевна. И за счастье тоже, конечно.

И выпил. И мальком этим, что по несуразности в томате плавал вместо заводи какой-нибудь,

закусил.

И кружку поставил, как точку.

Потом пятистеночек осматривали. Объект, так сказать, приложения сил, родник будущих доходов.

Тут роли были распределены заранее. Черепку полагалось пугать, Филе — зубы заговаривать, а Егору — делом заниматься. Прикидывать, во что все это может обернуться, и умножать на два. И уж после этого умножения Черепок черту подводил. Во сколько, значит, влетит хозяину означенная работа.

Так и здесь предполагалось: Филя уж речи готовил потуманистей, Черепок уж заранее угрюмился, за столом еще.

Ну, хозяюшка, спасибо за угощение. Выкладывай теперь свои неудобства жизни.

Ходили, судили, рядили, пугали — Егор помалкивал. Все вроде бы по плану шло, все как надо, а уж о чем думал Егор, неудобства эти оглядывая, о том никто не догадывался. Ни Черепок, ни Филя, ни Нонна Юрьевна.

А думал он, во что это все девчоночке встанет. И о том еще думал, что хозяйства у нее — одна раскладушка, на которой когда-то сын его обиженный ночевал. И потому когда сложил

он все, что работы требовало, когда материал необходимый прикинул, то не умножил на два, а разделил:

— Полста рублей.

— Что? — Черепок даже раскудриться позабыл от удивления.

— Упился, видать, — сказал Филя и на всякий случай похихикал: — Невозможное произнес число.

— Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой, — строго повторил Егор. — Меньше не уложимся, извиняемся, конечно…

— Да что вы, Егор Савельич…

— Ах, раскудри твою…

— Замолчь! — крикнул Егор. — Не смей тут выражения говорить, в дому этом.

— А на хрена мне за полсотни да еще вместе с материалом?

— И мне, — сказал Филя. — Отказываемся по несуразности.

— Да как же, товарищи милые, — перепугалась Нонна Юрьевна. — Что же тогда…

— Тогда в тридцатку все обойдется, — хмуро сказал Егор. — И еще я вам, Нонна Юрьевна, полки сделаю. Чтоб книжки на полу не лежали.

И пошел, чтоб мата черепковского не слы-

шать. Так и ушел, не оглядываясь. На пустырь тот вернулся и снова взялся за лопату. Канаву оглаживать.

Били его на том пустыре. Сперва в канаве, а потом наверх выволокли и там тоже били.

А Егор особо и не отбивался: надо же мужикам злобу свою и обиду на ком-то выместить. Так что он, Егор Полушкин, бывший плотник — золотые руки, лучше других, что ли?

12

Федор Ипатович со всеми долгами расплатился, все в ажур привел, все справочки раздобыл, какие только требовались. Папку с тесемками в культтоварах купил, сложил туда бумажки и в область подался. Новому лесничему отчитываться.

В копеечку домик-то въехал. В круглую копеечку. И хоть копеечку эту он не у собственных детей изо рта вытянул, обидно было Федору Ипатовичу. Ох как обидно! До суровости.

Вот почему за всю дорогу Федор Ипатович и рта не раскрыл. Думы свои свинцовые кантовал с боку на бок и сочинял разные обидные слова. Не ругательные: их до него тьмы тем насочиняли, а особо обидные. Сверху чтоб вроде обыкновенные, а внутри — чтоб отрава. Чтоб мучился потом лесничий этот, язви его, две недели подряд, а привлечь бы не мог. Никак.

Трудная это была проблема. И Федор Ипатович на соседей-попутчиков не растрачивался. Не отвлекался пустыми разговорами.

Думал он о встрече с новым лесничим Юрием Петровичем Чуваловым. Думал и боялся этой встречи, так как ничего не знал о нем, о новом

лесничем.

Жизнь Юрия Петровича сложилась хоть и самостоятельно, но не очень счастливо. Отец пережил победу ровнехонько на один год и в сорок шестом отправился туда, где молчаливые батальоны ждали своего командира. А вскоре умерла и мать, измученная ленинградской блокадой и тысячедневным ожиданием фронтовых писем. Умерла тихо, как и жила. Умерла, кормя его перед сном, а он и не знал, что ее уж нет, и проворно сосал остывающую грудь.

Об этом ему рассказала соседка много лет спустя. А тогда… Тогда она просто перенесла его из вымершей комнаты в свою, хоть и пустую, хоть и вдовью, но живую, и целых шестнадцать лет он считал матерью только ее. А когда он, загодя приготовив справки, собрался торжественно прибыть в милицию за самым первым в своей жизни паспортом и попросил у нее метрику, она почему-то надолго вдруг замолчала, старательно обтирая худыми, жесткими пальцами тонкие, бескровные губы.

— Ты что, мам?

— Сынок… — Она вздохнула, достала из скрипучего шкафчика старую тетрадку с пожелтевшими солдатскими треугольниками, похоронками, сче-

тами на электричество и метриками вперемежку, отыскала нужную бумажку, но не отдала. — Сядь, сынок. Сядь.

Он послушно сел, не понимая, что происходит с ней, но чувствуя, что что-то происходит. И опять спросил, улыбнувшись ласково и неуверенно:

— Ты что, мам?

А она все еще молчала и глядела на него без улыбки. А потом сказала:

— Ты, Юра, мне сыночком всегда был и всегда будешь, пока жива я. Пока жива, Юра. Только в свидетельстве этом, в метрике, значит, там другие записаны. И мама другая, и папка. И ты паспорт, сынок, на ихнюю фамилию получай, ладно? Она очень даже хорошая фамилия, и люди они были очень даже хорошие. Очень даже. И не Семенов ты теперь будешь, а Чувалов. Юра Чувалов, сыночек мой…

Так Юра в шестнадцать лет стал Чуваловым, но эту малограмотную, тихую солдатку по-прежнему и называл, и считал мамой. Сначала привычно и чуть небрежно, потом с великим почтением и великой любовью. После института он много разъезжал, работал в Киргизии и на Алтае, в Сибири и Заволжье, но где бы ни был и кем бы ни работал, каждое воскресенье писал письмо:

«Здравствуй, моя мамочка!»

Писал очень неторопливо, очень старательно и очень большими буквами. Чтобы сама прочитала.

И она тотчас же отвечала ему, аккуратно сообщая о своем здоровье (в письмах к нему она никогда ничем не болела, ни разу) и обо всем небогатом запасе новостей. И только последнее время все чаще и чаще стала осторожно, чтоб — упаси бог! — не обидеть и не расстроить его, намекать на безрадостное житье и одинокую свою старость:

«У Марфы Григорьевны уж внучат двое, и жизнь у нее теперь куда какая веселая...»

Но Юрий Петрович все отшучивался. Пока почему-то отшучивался и разговоры переводил все больше на здоровье. Береги, дескать, себя, мамочка, а там посмотрим, у кого она веселее сложится, эта самая жизнь. Поживем, как говорится, увидим, вот такие дела. Целую крепко.

Федор Ипатович ничего про это, конечно, не знал. Сидел напротив, глядел на хлюста этого столичного из-под бровей, как из двух дотов,

и ждал. Ждал, что скажет, папку с бумажками пролистав.

И еще искоса — чуть-чуть — вокруг поглядывал: как живет. Поскольку новый лесничий принимал его на сей раз не в служебном кабинете, а в гостиничном номере. И Федор Ипатович все время думал, к чему бы эта домашность. Может, ждет чего от него-то, от Федора Ипатовича, а? С глазу на глаз.

Ой, нельзя тут ошибиться было, ой нельзя! И поэтому Федор Ипатович особо напряженно первого вопроса ждал. Как прозвучит он, какой музыкой? То ли в барабан ударит, то ли скрипочкой по сердцу разольется — все в первом вопросе заключалось. И Федор Ипатович аж подобрался весь, аж мускулы у него свело от этого ожидания. И уши сами собой выросли.

— Ну, а где же все-таки разрешение на порубку строевого леса в охранной зоне?

Вон какая музыка пошла. Из милицейского, значит, свистка. Понятно. Федор Ипатович, тоску спрятав, перегнулся через стол, попридержал дыхание для вежливости — аж в кипяток его сунуло, ей-богу, в кипяток! — и пальцем потыкал:

— А вот.

— Это справка об оплате. Справка. А я говорю о

разрешении на порубку.

— Так прежний-то лесничий уехал уже.

— Так разрешение вы же не вчера брать должны были, а год назад, когда строились. Не так ли?

Засопел Федор Ипатович, заскучал. Замаялся.

— Мы с ним, с тем лесничим-то, душа в душу жили. Попросту, как говорится. Можно — значит, можно, а нельзя — так уж и нельзя. И без бумажек.

— Удобно.

— Ну за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, как вы велели…

— Хорошо, проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок.

— А папочка моя?

— А папочка ваша у меня останется, товарищ Бурьянов. Всего доброго.

— Как так у вас?

— Не беспокойтесь, не пропадут ваши справки. Счастливого пути.

С тем Федор Ипатович и отбыл, со счастливым, значит, путем. И весь обратный путь этот тоже молчал как рыба, но не потому уже, что обидные слова придумывал, а со страху. То потел он со страху этого, то дрожать начинал, и, уж только к поселку подъезжая, все свои силы мобилизовал,

и с огромным трудом привел себя в соответствие. В вид солидный и задумчивый.

А под всем этим задумчиво-солидным видом одна мысль в припадке билась: куда лесничий папочку его со всеми справочками понесет? А ну как в милицию, а? Сгорит ведь тогда он, Федор Ипатович-то, сгорит. Синим пламенем сгорит на глазах у друзей-приятелей, а те и пальцем не шевельнут, чтоб его из пламени этого вытащить. Точно знал, что не шевельнут. По себе знал.

Но терзался Федор Ипатович напрасно, потому что новый лесничий папку эту никуда не собирался передавать. Просто неприятен ему был этот угрюмый страх, эта расплата задним числом и этот человек тоже. И никак он не мог отказать себе в удовольствии оставить Федора Ипатовича со страхом наедине. Пока без выводов.

Только один вывод для себя сделал: посмотреть на все своими глазами. Пора уж было глянуть и на этот уголок своих владений, но нагрянуть туда он решил неожиданно и поэтому ничего Федору Ипатовичу не сказал. Отложил эту папку, очень крупными буквами написал матери внеочередное — когда тут вернешься, неизвестно — письмо и стал собираться в дорогу. А когда открыл чемодан, в который — так уж случилось

— почти не заглядывал с момента отъезда из Ленинграда, то на самом дне обнаружил вдруг маленькую посылочку. И со стыдом вспомнил, что посылочку эту передали ему в Ленинграде через третьи руки с просьбой при случае вручить ее учительнице в далеком поселке. В том самом, куда только-только собрался поехать.

Повертел Юрий Петрович эту посылочку, подумал, что растяпа он и эгоист при этом, и положил ее в рюкзак. На сей раз на самый верх, чтобы вручить по прибытии, еще до того как отправится на Черное озеро. А потом пошел в читальный зал и долго копался там в старых книгах.

А Нонне Юрьевне в эту ночь никакие сны так и не приснились. Вот оно как в жизни бывает. Без знамений и чудес.

13

Теперь у Егора опять пошла быстрая полоса. Все на бегу делал, что велено было, как во времена Якова Прокопыча. А закончив этот торопливый, без перекуров и перерывов, обязательный труд, умывался, причесывался, рубаху одергивал и шел к аварийной пятистеночке Нонны Юрьевны. Ходко шел, а вроде бы и не семенил, торопился, а себя не ронял. Мастером шел. Особой походкой: ее ни с чем не спутаешь.

Правда, мастеровитость эта к нему недавно вернулась. А поначалу, синяков еще не растеряв, что Филя с Черепком ему наставили, затосковал Егор, замаялся. Ночь целую не спал — не от боли, нет! С болью-то он давно договорился на одном топчане спать — ночь не спал, вздыхал да ворочался, сообразив, что обманул он робкую Нонну Юрьевну. Не выходило там в тридцаточку, как ни кумекал Егор, как ни раскидывал. Не взял он того в соображение, что не было у Нонны Юрьевны во дворе ни доски, ни бревнышка и весь лес, значит, предстояло добывать на стороне. И пахло тут совсем не тридцаточкой.

Однако Нонну Юрьевну бессонницей своей он

беспокоить не стал: его промах — его и беспокойство. Побегал, поглядел, посуетился, со сторожем лесосклада о ревматизме покалякал, покурил с ним…

Вот кабы для себя он лес добывал этот, то на том бы ревматизме все бы и закончилось. Не смогло бы Егорово горло никаких других слов произнести, просто физически не смогло бы; сдавило бы его, и конец всякому разговору. Скорее он бы хату свою собственной кожей покрыл, чтоб не текла, проклятая, чем о лесе бы заикнулся, скорее столбом бы в углу перекошенном замер, но в аварийной квартире Нонны Юрьевны заместо столба замереть было невозможно, и потому Егор, языком костенея, брякнул на том перекуре:

— Тесу бы разжиться. А?..

«А» это таким испуганным было, что аж пригнулось, из Егоровой глотки выскочив. Но сторож ничего такого не заметил, поскольку размышлял напрямик:

— Сколько?

Никогда в жизни Егор так быстро не соображал. Много сказать — напугается и не даст. Мало сказать — себя наказать. Так как же тут говорить-то без опыта?

— Дюжину… — глянул, как бровью мужик тот

шевельнет, и добавил быстренько: — И еще пять штук.

— Семнадцать, значит, — сказал сторож. — Округляем до двадцати и делим напополам. Получается две поллитры.

Совершив эту математическую операцию, он уморился и присел на бревнышко. А Егор пока прикидывал:

— Ага. Ясно-понятно нам. В каком, значит, виде?

— Одну — натурально, другую — денежно. Про запас.

— Ага! — сказал Егор. — А как тес вынесу?

— Считай от угла четвертый столб. Насчитал? От него обратно к углу — третья доска. Висит на одном гвозде. Не, не репетируй: начальство ходит. Ночью. Машину оставь за два квартала.

— Ага! — сказал Егор: упоминание о машине почему-то вселило в него уверенность, что с ним договариваются всерьез. — За три оставлю.

— Тогда гони поллитру. И денежное способие на вторую.

— Счас, — сказал Егор. — Ясно-понятно нам. Счас сбегаем.

И выбежал со склада очень радостно. А когда пробежал квартальчик, когда запыхался, тогда и

радоваться перестал. И даже остановился.

В карманах-то его который уж год авось с небосем только и водились. И еще махорка. А больше ничего: все свои деньги он всегда в кулаке носил. Либо получку — до дому, либо пай в тройственном согласии — из дома. А тут целых восемь рублей требовались. Восемь рубликов, как за пуд лыка.

Приуныл Егор сильно. С Нонны Юрьевны стребовать — в тридцаточку не уложимся. У знакомых занять — так не даст же никто. На земле найти — так не отыщутся. Повздыхал Егор, покручинился и вдруг решительно зашагал прямо к собственному дому.

То все в субботу происходило, и Харитина поэтому шуровала по хозяйству. В избе пар стоял — не проглянешь: стирка, понятное дело. И сама над корытом — потная, красная, взлохмаченная — и поет. Мурлычет себе чего-то, но не «тягры» свои, и потому Егор прямо с порога и брякнул:

— Давай восемь рублей, Тина. Тес приторговал я для Нонны Юрьевны.

Знал, что будет сейчас, очень точно знал. Вмиг глаза у нее высохнут, выпрямится она, пену с рук смахнет, грудь свою надует и — на четыре квартала в любую сторону. И он уж подготовился

к воплям этим, уже стерпеть все собирался, но не отступать, а в перерывах, когда она воздух для новой порции заглатывать начнет, втолковывать ей, кто такая Нонна Юрьевна и как нужно помочь ей во что бы то ни стало. И так он был ко всему этому готов, так на одно и устремлен, и заряжен, что поначалу даже ничего и не понял. Не сообразил.

— Тес-то добрый ли?

— Чего?

— Гнили бы не подсунули: обманщики кругом.

— Чего?

Руки о подол вытерла — большие руки-то, тяжелые, синими жилами опутанные, — руки вытерла и из-за Тихвинской Божьей Матери (маменьки ее благословение) коробку из-под конфет достала.

— Хватит восьми-то?

— Столковались так.

— Либо машину, либо подводу каку нанимать придется.

И еще трояк приложила к тем-то, к восьми. И вздохнула. И опять к корыту вернулась. Посмотрел Егор на деньги, враз пустоту — волнующую, знакомую — в животе ощутив. Посмотрел, сглотнул слюну и взял ровно восемь рублей:

— Допру.

И вышел. А она и не обернулась: только опять запела что-то. Чуть только погромче вроде бы. Вот почему, передавая сторожу бутылку и четыре рубля чистыми, Егор посуровистей свел выгоревшие свои брови и спросил построже:

— Не обманешь?

— А кого? — очень лениво спросил сторож. — Бухгалтера нет, директора нет, инспектора тоже нет. Так кого обманывать? Себя? Невыгодно. Тебя, что ли? Обратно невыгодно: второй раз не придешь.

— Ладно-хорошо. Ночью, стало быть, третья доска. Не стрельни с дремоты-то.

— Она у меня незаряженная.

Весь вечер Егор и двух минут на месте усидеть не мог: вскакивал, поспешал куда-то, хотя поспешать было еще не время. Он был чудовищно горд своей инициативой и деловой хваткой, но где-то рядом с гордостью шевелилась большая черная пиявка. Поднимала тупую голову, нацеливая присоску в самое больное, и тогда Егор вдруг вскакивал и метался, и чем меньше оставалось времени до воровского часа, тем все чаще поднимала пиявка эта свою голову и тем все быстрее и суматошнее метался Егор.

Заплатить бы ему за этот тес не поллитрой, а

сколь там положено. Лучше бы он сапоги свои последние загнал и расплатился бы честь по чести, чем вот эта вот пиявка, что ворочалась где-то возле самого сердца. Но выписать тес этот через контору, оплатив его по государственной цене, было немыслимо не только потому, что никто не купил бы у Егора его заветных сапог, а потому лишь, что контора эта имела право продавать частным гражданам только «неликвиды» — продукцию загадочную и по содержанию, и по форме, из которой при самой великой хитрости можно было бы выстроить разве что малогабаритный нужник. Вот почему все изыскания заднего Егорова ума — а он им был особо крепок, — все эти изыскания носили, так сказать, характер отвлеченно-теоретический. А практический выход тут был один: через третью доску обратно к углу.

Но, несмотря на пытки отвлеченной теорией, а может, как раз-то и благодаря им, Егор Кольку в ночной тот разбой не взял, ни единым словом об этом деле не обмолвился и Харитине своей велел молчать. Впрочем, это она и без него сообразила и еще загодя сказала:

— Кольку не пущу.

— Верно, Тина, правильно. Чистоглазик парень-то… — У Егора горло вдруг перехватило, и кончил

он почти что шепотом: — Ну и слава богу!

Нельзя сказать, что рос Егор ухарем, но особо ничего не боялся. И на медведя хаживал, и тонул, и спасал, и пьяных разнимал, и собак успокаивал. Слово «надо» для него всегда было — что было не удивительно, а вот что до сих пор сохранилось! — всегда было самым главным словом, и когда звучало оно — в нем ли самом или со стороны, — тогда и страх, и слабость, и все его немощи отступали на седьмой план. Тогда он шел и делал то, что *надо*. Без страха и без суеты.

Здесь тоже было «надо», звучало в полную силу, а страх почему-то не проходил. И чем ближе подползали стрелки ходиков к намеченному сроку, тем сильнее колотился в нем этот странный, безадресный, обезоруживающий его страх. И чтобы унять его, чтобы заставить самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую Божью Матерь. Неумело, торопливо и нескладно. А прошептал уж совсем несуразное:

— Господи, не ворую ведь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше никогда не буду. Честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся… Для хорошего че-

ловека беру.

Тут Харитину вынесло, и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на разбойное свое дело со смущенной душой.

Двенадцать часов выбрал, полночь, самое воровское время. Тишина в поселке стояла, только псы перебрехивались. И ни людей, ни скотов, будто вымерли все.

Шесть раз он мимо той доски прошел. Шесть раз сердце в нем обрывалось; нет, не со страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что преступал. Через черту преступал, и то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний.

А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл потом. Силился вспомнить и не мог. И понять не мог, как же это он один двадцать дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трех не упрешь. Пробовал.

Только помнил, что на складе ни души не было и через ту третью доску свободно можно было не двадцать — двести штук выволочь. Но он-то ровно двадцать взял, как договаривались. Отво-

лок, свалил у Нонны Юрьевны на задах — место это он еще загодя доглядел — и домой пошел. Коленками, как говорится, назад.

А наутро — воскресное утрецо было, ласковое! — наутро надел Егор чистую рубаху, взял личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно, так торжественно, что он останавливал каждого встречного и маленько калякал. И хоть никому не было дела до забот Егора Полушкина, Егор сам на свои заботы любой разговор поворачивал:

— За грибками ты, значит, навострился! Ну, везет, стало быть, отдыхай. А у меня дела. Работа, понимаешь ли, серьезный вопрос.

А Колька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще примолк что-то последнее время. После того, как выменял компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить никак не мог, так как весь был поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой. Для души. Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. Там чему научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело ожидалось, и учение тоже должно было быть настоящим.

— В работе, сынок, без суеты старайся. И делай как душа велит: душа меру знает.

— А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы.

— Чего есть?

— Рефлексы. Ну, это — когда чего хочется, так слюнки текут.

— Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего текет? Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому каждый должен уметь ее слушать. Чего она, значит, ему подсказывает.

Говорили они неспешно, и слова обдумывая, и дела, поскольку беседы вели за работой. Колька держал, где требовалось, пилил, что отмерено, и гвозди приловчился с двух ударов вгонять по самую шляпку. Первый удар — аккуратно, чтоб направить только, а второй — с маху, так, чтоб шляпка утопла. Споро работали: крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол перебрали. А из остатков Егор начал сооружать полки, чтоб книжки на полу не валялись. Особо когда ту обнаружил, про индейцев.

Колька под рукой у него ходил. Помогал чем мог,

сам учился и очень старался. Но раз в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все приглядывался, хмурость эту замечая, но не расспрашивал: парень был самостоятельный и сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить:

— Главное дело, сынок, чтоб у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая: сколько радости пропето, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь захотят.

— Если бы так было, все бы только и голосили.

Сердитым Колька в то утро с исчезновения-то своего вернулся. И говорил сердито.

— Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело.

— Если с мясом щи-то, так я и без ложки не заплачу.

— Есть, Коля, для живота веселье, а есть — для души.

— Обратно для души! — рассердился вдруг Колька. — Какой тут может быть серьезный разговор, когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию!

Нонна Юрьевна — а они в ее комнате доски-то для полок строгали — в разговор не встревала. Но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна, взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг:

— А может, не про религию, Коля, а про веру?

— Про какую еще веру?

— Верно-правильно, Нонна Юрьевна, — сказал Егор. — Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, за-ради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра — зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. И ты уж не на то смотришь, чтоб сделать, как оно получше-то, как посовестливее, а на солнышко. Где висит да скоро ли спрячется. Скоро ль каторге этой да стыду твоему смертному отпущение настанет. Вот тут-то о душе-то и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если не бессовестный ты шабашник, если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер жив уважаемый. Мастер!..

Голос его вдруг задрожал, Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда цигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не по-

слушались: махорка с листка ссыпалась, и листик тот никак сворачиваться не хотел.

— Вы здесь курите, Егор Савельич, — сказала Нонна Юрьевна. — Курите здесь, пожалуйста.

Улыбнулся Егор ей. Аж губы подпрыгнули.

— Да уж, стало быть, так, Нонна Юрьевна. Стало быть, так, раз оно не этак.

А Колька молчал все время. Молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно:

— А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна?

— Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса. — Каких щенков?

— Собачьих, — пояснил Колька.

— Н-не знаю, — призналась она. — Наверно…

И тут в дверь постучали. Не кулаком — костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне от этого стука еще раз растеряться пришлось:

— Да, да! Кто там? Войдите!

И вошел Юрий Петрович Чувалов. Новый лесничий.

От автора

Вот тут бы и точку поставить: читатель досочинит. Непременно досочинит счастливый конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но простит, наверно: счастливые концы умилительны, а от умиления до прощения — рукой подать.

Только Егор не простит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами, и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева: несогласие есть.

И поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо допеть до конца.

14

Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а дрессировать — тем более. Обидно, конечно.

А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатович одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.

Федор Ипатович собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Ну, а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила, тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду во дворе не издохла, Федор Ипатович ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собачникам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал. Урожаистые были яблоньки, ничего не скажешь.

И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Нёбо черное, глаза красные, рык с надрывом и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался, даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого бог бережет — эту пословицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.

На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал: пока нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточке порадоваться.

Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать — это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочитать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти «что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.

Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Коль-

киного однажды коснулись да так и присохли к нему, — так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее Вовкины были, и мысли. А вот почему так получалось, Колька никак понять не мог: гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз побил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.

А еще Вовка сказал однажды:

— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю. Надоест компас твой, и утоплю. Пользы от него никакой не получишь.

Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.

— Если он ценный, так ты мне цену давай.

— Какую цену? — не понял Колька.

— Настоящую. — Вовка солидно вздохнул.

— Так денег нету. — Колька подумал немного. — Может, я какую книжку в библиотеке стащу?

— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.

Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог. Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина…

Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о ценной вещи, которой у него не было, и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив нового лесничего.

А разговор за столом вот как складывался.

— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает, — говорил тятька его Егор Полушкин. — Враз куда-то устремляется, прибегает в задыхе, вершит, чего попалось, и обратно устремляется. И все кругом ему — случай... А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович.

— Люди интересную работу ищут. Это естественно.

— Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит? Не согласный я с вами. Всякое место, оно все равно наше, общее то есть. А что выходит, если по жизни смотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно-хорошо. Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они? Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А мои — стало быть, береги свое-то. Не допускай разору: твоя

земля. Уважай. Вот.

— Согласен с вами полностью, Егор Савельич.

Слушали здесь Егора — вот что удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то чтобы нравилось — он ведь не понравиться стремился! — а ворошило все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал и говорил то, что казалось ему и нужным, и важным:

— Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил. Чтоб, значит, обратно работать, так? А раз так, то и лес — он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, раны смолой затянуть. А мы обратно — лыко с него. Порядок это? Непорядок. Беспокойство это и липнякам полная смерть. Зачем?

— С липняками полностью моя вина, — сказал Юрий Петрович. — На охранные леса это разрешение не распространяется.

— Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда…

Нонна Юрьевна тихо по хозяйству шебаршилась: чайку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора, и лесничего, а сама примолкла. Как

Колька.

— Много липняка погибло?

— Это есть. — Егор вздохнул, вспомнив свой незадачливый поход. — Деньги сулили, так что уж… Топор не остановишь, коль полтина за килограмм.

— Да, — вздохнул Чувалов. — Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел.

— Мы ведь это… — Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул. — Мы тоже за лыком-то навострились. Да. А как глянули, что в лесу от стволов бело, так и назад. И жалко, и совестно.

До чего же хорошо и покойно было ему в тот день! И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин — умным и вполне даже самостоятельным мужиком. Колька, правда, пыхтел да хмурился, но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания: он берег впечатления от встречи с лесничим и нес их домой неторопливо и бережно, точно боялся расплескать.

— Уважительный человек лесничий новый, — сказал он Харитине, как спать улеглись. — Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая.

— Вот бы на работу ему тебя взять — это отзывчиво.

— Ну зачем так-то, Тина, зачем?

О том, чтоб работать у Юрия Петровича, Егор даже думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная в нем уже поселилась, но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье и даже самые простые мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. И поэтому добавил политично:

— Он сюда не для работы приехал, а для туризма.

— А коль для туризма, так людям голову не морочь. А то обратно на три ста нагорим с туризмом с ихним.

Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить — бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется.

А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вечера просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время уже было позднее, а и по соображениям, не очень пока ясным для него самого.

Все началось с проводов. Поскольку лесничий

нагрянул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному Федору Ипатовичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала.

С директором у Нонны Юрьевны отношения были добрые. С директором добрые, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом, никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне.

Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по-доброму, и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал — и делом, и советом. И все было отрадно аж до торжественного вечера накануне 8-го Марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку, кроме директора, мужчин в школе не имелось и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды.

А Нонна Юрьевна явилась в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому, что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба, надевала его до сей поры

один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы.

— Не воскресник у нас, милочка, а праздник. Наш, женский. Международный, между прочим.

— А по-моему, это нарядно, — пролепетала Нонна Юрьевна. — И современно.

— Насчет современности вам, конечно, виднее, только если вы в этой современности позволяете себе на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли.

Нонна Юрьевна к двери подалась, директор — за ней. Догнал на третьем повороте.

— Вы напрасно, Нонна Юрьевна.

— Что напрасно? — всхлипнув, спросила Нонна Юрьевна.

— Напрасно так реагируете.

— А они не напрасно реагируют?

Директор промолчал. Шел рядом с разгневанно шагавшей девушкой, думал, что следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний, чуждой нам моды и тому подобное. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведал совсем иное:

— Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна! Так,

знаете, чисто по-женски. Вы молодая, фигура у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужья, хозяйство, а вы — завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно.

Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась:

— А вы хитрый!

— Ужасно, — сказал директор.

На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чаи захаживала. И поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения.

А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака розовели. А ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам.

— Тихо-то как у вас, — сказал Чувалов.

— Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна.

Не ладился у них разговор. То ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика: ровнехонько зубки почистить.

— Скучно здесь, наверно?

— Нет, что вы. Работы много.

— Сейчас же каникулы.

— Я с отстающими занимаюсь: знаете, пишут плохо, с ошибками.

— В Ленинград не собираетесь?

— Может быть, еще съезжу. Маму навестить.

И опять — полста шагов молча. Будто зажженные свечи перед собой несли.

— Вы сами эту глухомань выбрали?

— Н-нет. Назначили.

— Но ведь, наверно, могли бы и в другое место назначить?

— Дети — везде дети.

— Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей?

— У меня мама — учительница.

— Значит, фамильная профессия?

Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо.

— Литературу преподаете?

— Да. А еще веду младшие классы: учителей

не хватает.

— Читают ваши питомцы?

— Не все. Коля, например, много читает.

— Коля — серьезный парнишка.

— Им трудно живется.

— Большая семья?

— Нормальная. Отец у него странный немного. Нигде ужиться не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается.

— Что же так?

— Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудаком. Вот и Егора Савельича бедоносцем прямо в глаза зовут, ну, а Коля очень больно переживает это. Простите.

Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. Песку-то, правда, немного совсем набилось, но мысль, которая пришла ей в голову, требовала смелости, и вот ее-то и копила в себе Нонна Юрьевна. И фразы сочиняла, как бы изложить эту мысль половчее.

— Вы один на Черное озеро собираетесь? — Сказала и испугалась: подумает еще, что навязывается. И добавила совсем уж невпопад: — Страшно одному. И скучно. И…

И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии:

— Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят: он разнорабочим тут числится.

— Знаете, я и сам об этом думал.

— Правда? — Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением.

— Честное слово. — Юрий Петрович тоже улыбнулся. И тоже почему-то с облегчением на душе.

А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминой дочке, безропотно и честно исполнявшей свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил: — И парнишку с собой захватим, если захочет.

— Спасибо, — сказала Нонна Юрьевна. — Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом. Или художником.

Тут они наконец добрались до крытого железом директорского дома, и разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался

мучительно, но Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому.

Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор расшуровал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чаи и все время видел худенькую девушку в больших важных очках. И улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу: «Вы один на Черное озеро собираетесь?»

Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохранным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю.

Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно: край-то северный, а зимы вьюжные.

— Полушкина отчетливо знаем. С онерами!

— Шебутной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шебутной!

— Мотор утопил, представляете?

— Говорят, спьяну.

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шебутного мужика Егора Полушкина со всеми его онерами.

— Брехня, она впереди человека…

— Брехня впереди собаки. И то если собака эта за глаза брехать натаскана.

Спокойно высказался. Но так спокойно, что конторские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали.

А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения:

— Извините, я…

— Айда с нами на Черное озеро, — сказал он вместо «здравствуйте». — Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности.

Она ничего ответить не успела, да он и не ждал ответа. Кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито:

— Где Полушкин живет? Ладно, вы пока собирайтесь, а я за ним сбегаю. И за парнишкой!

И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.

15

Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работы оказалось невпроворот.

Колька, например, всю живность, в пути замеченную, должен был в тетрадку заносить, в «Журнал наблюдения за фауной». Встретил, скажем, трясогузку — пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес:

— Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке!

Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь, пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живо назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень терпеливо объяснял, как эта серенькая научно называется и что про нее надо писать, и к вечеру Колька уже кое-чего соображал. Не орал, а, дыхание затаив и язык высунув, писал в тетрадочке:

«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной конек. Сидел на березе».

Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:

— Часы, сынок, не потеряй.

Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений.

«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».

— Точность для исследователя — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки.

— А почему мученики?

— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настежь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорыч.

Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил:

чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.

А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным: и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и Колькин разинутый от великого усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла. Без всяких уговоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:

— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан: рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегаю.

Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и Колька. А потом… Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:

— Командовать парадом буду я.

Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле Кольки, еще молчала, но уже слушала.

В институте ее по-школьному звали Хорошисткой. Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил:

— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая! — какие у тебя были общественные нагрузки?

— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. — У меня

были разные общественные нагрузки.

— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?

— Я? Я — хорошистка.

Тут Нонна не оговорилась: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишенная резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманитариев.

Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные. Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога — странная, беспричинная и безадресная тревога — все росла, и Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, непонятную, но совсем не пугающую, добрую тревогу. И тогда

подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе.

На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Преодолев три сотни километров и пережив

две пересадки, Хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевной. И постепенно все то, что осталось позади: лекции и мамины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепития у дальних родственников, — постепенно все это тускнело, бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее… Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.

А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка. Но мечты эти были настолько тайными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.

И вот сейчас она шагала по глухому лесу с

непривычным рюкзаком за плечами. И туфли ее — обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул, — то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.

К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев свариться. Нонна Юрьевна суматошно запихивала ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо

стремилась в костер.

— На Маланьину свадьбу, — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна!

— Сладим, — сказал Егор.

Сладили. До донышка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плошками мыть. Егор Кольку в помощь ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня.

— В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор.

Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился:

— Извиняюсь, конечно, насчет любопытства. Но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и… того.

— А я, Егор Савельич, и сам не знаю, в каком звании состою: в семейных или в холостых.

— Как так получается?

— Да вот получилось.

Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал, Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать пытался, всхохотнул даже раза четыре,

но Юрий Петрович был по-прежнему хмур и задумчив и отвечал невпопад.

Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурясь и о своем думая, а рядом Колька журчал без умолку. Пока он о зверье да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, про ежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито:

— Вы что, с этим, с Юрием Петровичем, уедете, да?

— Куда уеду? — У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился. — Зачем, Коля?

— Ну, женитесь и в город уедете, — очень агрессивно пояснил Колька. — Все так делают.

— Женюсь? Женюсь, да? — Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась, Кольку водой обрызгала и ложку утопила. — Вы слышите, Юрий Петрович? Слышите?

Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали: и Егор, и лесничий. Только молчали почему-то и радость с Нонной Юрьевной делить не торопились. И Нонна Юрьевна смешком собственным, кое-как сляпанным, враз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить.

— Что же вы не отвечаете? — спросил мучитель Колька. — Значит, и вправду от нас удерете, раз отвечать не хотите.

— Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори.

А почему не говорить, когда все кругом так делают? Вот и его прежняя учительница женилась — и привет родному дому.

Вздохнул Колька. А Нонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг. Ни с того ни с сего, а будто бы со слезой:

— Я никогда не женюсь! Никогда, никогда, слышишь?

Так закричала, что Колька ей поверил. Без сомнения, не женится. Это уж точно.

16

Хоть и взял новый лесничий Егора с собой, хоть и исполнил тем самым затаенную мечту его, а вот прежняя Егорова живость, прежний — звонкий и радостный — оптимизм его уже никак и ни в чем не проявлялись. То ли устал Егор от всех мытарств, то ли не верил больше ни во что хорошее, то ли слишком уж непривычной и какой-то не очень, что ли, мужицкой представлялась ему новая его деятельность, а только радости особой он не испытывал.

Сколько желания сделать доброе человеку на жизнь отпущено? Сколько раз он, побитый и осмеянный, вновь подняться сможет, вновь улыбнуться труду своему, вновь силами с ним помериться? Сколько? Кто это знает? Может, на раз кого хватит, может, на сто раз? Может, уж исчерпал Егор весь запас жизнестойкости своей, все закрома до донышка выскреб, все зерно в муку перемолол и осталась в нем теперь одна полова? Где они, запасы-то эти, кто измерял их, кто испытывал, и не пора ли махнуть на все рукой, стянуть у Юрия Петровича трояк да дунуть сызнова к Филе да Черепку?

Кто знает, может, и махнул бы Егор на это свое везение. Махнул бы, потому что боялся в него поверить, боялся в себя поверить и в нового лесничего тоже боялся поверить. Удрал бы он отсюда, от новых попыток стать на ноги, поглядеть в себя, заслужить уважение людей и уверенность, что не совсем он, Егор Полушкин, пропащая душа. Удрал бы, да Колька рядом шагал. Радовался, дурачок, лесу и зверью и радостно верил, что вот это и есть самая распрекрасная жизнь. И, глядя на радость эту, Егор понимал, что не сможет ее предать. И больше всего, больше самой лютой смерти боялся, что кто-то вообще может предать такую радость. Глаза эти предать, что смотрят в тебя незамутненно и доверчиво. И от незамутненности и доверия даже моргают-то через раз.

— Тять, я правильно про синичку написал?

— Часы, сынок, не потеряй.

— Да знаю я!

Зачем птичек-мурашек пересчитывать, кому они нужны? Для смеху если, так Колька же в полезность верит. Глаза ведь у него огнем горят, душа навострилась, верит он во все ваши штучки, и если вы нас опять, как тех мурашей, то обождите лучше маленько. Надо мной — это пожалуйста, это сколько угодно, а над мальцом…

— Кольке тетрадку дали для дела или так, для забавы?

— Почему для забавы?

— Посмеетесь, поди, у костра-то?

Юрий Петрович ответил не сразу. Подумал, на Егора поглядел. И враз перестал улыбаться.

— Мне не птички нужны, Егор Савельич, не перепись зверья. Мне сам Колька нужен, понимаете? Чтоб в лес он входил не как гость, а как хозяин: знал бы, где что лежит, где кто живет да как называется. А у костра… Что ж, у костра, Егор Савельич, вместе посидим, вместе и посмеемся. Только не над работой: работа, какая б ни была она, есть труд человеческий. А над трудом не смеются.

Нельзя сказать, чтоб эти слова сразу Егора на другие мысли перевели: мысли — не паровоз. Но в отношении Кольки как-то успокоили, и Егор маленько приободрился. Над сыном никто вроде смеяться пока не собирался, а насчет себя самого он мало беспокоился.

Но смеяться вечером им не пришлось, потому что пропала Нонна Юрьевна. Пропала, как стояла, аккурат после ужина, оставив после себя грязную посуду, и вместо сладкого перекура вышла потная беготня.

А вышла беготня эта потому, что Нонне Юрьевне понадобилось уединение. Улучив момент, когда прилипала Колька куда-то отвлекся, Нонна Юрьевна шмыгнула в кусты и со всех ног кинулась подальше от костра, от малознакомых мужчин и — главное! — от Кольки. Бежала, покуда слышны были голоса, а поскольку Колька как раз в этот момент решил спеть, то бежать ей пришлось долго. И думала она на бегу не о том, как будет возвращаться, а о том, как бы кто ее не заметил.

Ну, а потом, когда надобность в одиночестве отпала, лес на все триста шестьдесят градусов оказался настолько одинаковым, что Нонна Юрьевна, повращавшись, решила опираться только на интуицию и отважно шагнула куда-то вперед.

Хватились ее, по счастью, быстро. Колька исполнял песню специально для нее и нуждался в оценке. Однако слушателя нигде не оказалось, и после недолгих поисков Колька доложил об этом отцу.

— Сейчас вернется, — сообразил Егор и пошел вместо Нонны Юрьевны мыть посуду.

Он старательно перемыл все ложки-плошки, а учителка все не появлялась. Егор два раза аук-

нул, ответа не получил и доложил о пропаже по команде.

— Наверно, так надо, — сказал Юрий Петрович.

— Всякое «надо» полчаса назад должно было кончиться, — сказал Егор. — А она не откликается.

— Нонна Юрьевна! — бодро крикнул лесничий. — Вы где?

Послушали. Только лес шумел. По-вечернему шумел, басовито и таинственно.

— Что за черт! — нахмурился Юрий Петрович. — Нонна!.. Э-гей! Где вы там?

— Вот, — сказал Егор, прислушавшись. — Могила.

— Чего? — озадаченно спросил Юрий Петрович.

— Может, она домой пошла? — тихо предположил Колька. — Обиделась и пошла себе.

— Далеко домой-то, — усомнился Егор.

Юрий Петрович побегал по окрестностям, поорал, посвистел. Вернулся озабоченным:

— Искать придется. Коля, от костра чтоб ни на шаг! Не боишься один-то?

— Не-а, — вздохнул Колька. — Ведь надо.

— Надо, сынок, — подтвердил Егор и трусцой

побежал в лес. — Ау, Юрьевна!

Аукали, пока хрип из глоток не пошел. Юрий Петрович сперва жалел, что ружья не прихватил, а потом — что девицу эту с собой пригласить надумал. Дернула же нелегкая! Но об этом особо погоревать ему не пришлось, потому что в непонятных лесных сумерках мелькнуло вдруг что-то совсем не лесное, что-то нелепое, жалкое, плачущее навзрыд. Мелькнуло — и Юрий Петрович не успел сообразить, что это за видение, как Нонна Юрьевна повисла у него на шее.

— Юрий Петрович! Миленький!

Ревела она еще по-детски: громко и некрасиво. Шмыгала носом, размазывала ладонями слезы и вздыхала.

— Дура вы чертова! — с удовольствием сказал ей Юрий Петрович. — Это ведь не Кировский парк культуры и отдыха.

Нонна Юрьевна покорно кивала, всхлипывая уже по инерции. Юрий Петрович радовался, что в лесу темно и что Нонна Юрьевна не видит ни его смеющихся глаз, ни улыбок, которые он старательно прятал.

— Классный руководитель заблудился в трех шагах от палатки. Да если я расскажу об этом вашим ученикам…

— А вы не говорите.

— Я-то уж, так и быть, пощажу вас. А Колька?

Нонна Юрьевна промолчала. Они продирались по темному лесу: Юрий Петрович шел впереди, обламывая сучья, чтобы Нонна не напоролась. Сухие ветки трещали на всю округу.

— Мы идем сквозь револьверный лай, — сказал Юрий Петрович и смутился, подумав, что щеголяет начитанностью не к месту и не ко времени.

— Я идиотка? — доверительно спросила Нонна Юрьевна.

— Есть немного.

Нонна хотела объяснить, как все получилось, но тут раздался грохот, и прямо на них вывалился Егор Полушкин.

— Нашлась! Слава те… Тут, это, медведей нет, но заблудить недолго. Жалко, Колька компас свой потерял, а то бы вам его.

Вопреки тайному опасению Нонны Юрьевны Колька встретил ее очень радостно и никаких вопросов не задавал. Проворчал только:

— Без меня чтоб ни шагу теперь.

— Достукались? — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну, спать. Дамы и пажи — в палатку, рыцари — под косматую ель.

Колька и головы до подушки не донес: как

свалился, так и засопел. А вот Нонне Юрьевне не спалось долго, хоть и расстарался Егор, наломав ей под бочок самого нежного лапника.

Кажется, она все-таки поцеловала Юрия Петровича. В страхе и слезах она не давала отчета в своих поступках и, не колеблясь, повисла бы на шее у Фили или у Черепка, если бы им случилось найти ее. Но случилось это Юрию Петровичу, и Нонна Юрьевна до сей поры чувствовала на губах жесткую, выдубленную солнцем и ветром щетину, тихонько трогала пальцами эти грешные губы и улыбалась.

Мужчины уснули сразу. Егор храпел, завалив голову, а Юрий Петрович вздыхал во сне и хмурился. То ли видел что-то сердитое, то ли недоволен был звонким Егоровым соседством.

Проснулся он рано: Егор, выбираясь из-под плащ-палатки, которой они оба укрывались, потянул не за тот край.

— Куда? Рано еще.

— Так… — Егор почему-то засмущался. — Погляжу пойду. Вы спите.

Юрий Петрович глянул на часы — было около пяти, — повернулся на другой бок, смутно подумал, как там спится Нонне Юрьевне, и уснул, будто провалился. А Егор взял чайник и пошел

к реке.

Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение и снова возникло: такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор всмотрелся в него, осторожно, словно боясь спугнуть, вытащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом.

Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоянный на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную крону ольхи: они переплетались с всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размываясь у самого дна. И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг — и все это исчезнет, исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и

ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о куреве, о Кольке и о Юрии Петровиче и обо всех горестях своей нелепой жизни.

Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову: что-то белое колыхнулось за кустом, кто-то вздохнул, осторожно, вполвздоха. Он вытянул шею и сквозь листву увидел Нонну Юрьевну: она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувздох, и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из той картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете.

А Нонна Юрьевна сняла все, что еще оставалось на ней, и пошла в воду. Она шла медленно, ощупывая дно, гибкая и неуклюжая одновременно. И с тем же чувством спокойствия, с каким он глядел на реку, Егор смотрел сейчас на молодую

женщину, на длинные бедра и покатые худенькие плечи, на маленькие, девчоночьи груди и на тяжелые, важные очки, которые она так и не решилась оставить на берегу. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берез, у тумана: красота.

Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и по мере того как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью, а чтобы прикрыть все, что хотелось, рук у нее не хватало, и она изгибалась, изо всех сил вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими очками, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая и вытирая их, и вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно, и Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятного восторга. И опять пожалел о том, что нельзя, невозможно, немыслимо сохранить для людей и этот миг, донеся его до них в своих заскорузлых ладонях.

А потом он опомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше

Нонны Юрьевны совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки, а Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде. И вздыхал почему-то.

К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и впрямь было черным: глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.

— Вот и прибыли, — сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак. — Располагайтесь, а мы с Колей насчет рыбки побеспокоимся.

Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забегал сбоку, во все глаза глядя на непонятную металлическую удочку.

— На червя, дядя Юра?

— На блесну. Щучку или окуня.

— Ну! — усомнился Колька. — Баловство это, поди?

— Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч.

На пятом забросе леска резко натянулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх.

— Клюнула! — заорал Колька. — Тятька! Нонна Юрьевна! Щуку тащим!

— Погоди кричать, еще не вытащили.

Берег был низким, болотистым, заросшим осокой, и Юрий Петрович легко выволок серо-зеленую щуку с широко разинутой черной пастью. Белое брюхо проехалось по осоке, Юрий Петрович прижал щуку носком сапога, вырвал из зева блесну и отбросил рыбу подальше от берега.

— Вот и обед.

— А мне… — Колька даже слюной подавился от волнения. — Попробовать, а?

— Учись, — сказал Юрий Петрович.

Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела куда ей вздумается, но Колька старался.

— Поди, денег стоит, — озабоченно сказал Егор. — Сломает еще.

— Починим, — улыбнулся Юрий Петрович, и Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему.

Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием:

— За мыском кострище чье-то. Банок много пустых. И бутылок.

Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен, и свежие пни метили его, как оспины.

— Туристы, — вздохнул Юрий Петрович. — Вот тебе и заповедный лес. Ай да товарищ Бурьянов!

— Может, не знал он об этом, — тихо сказал Егор.

Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб: осталась яма да черная головня.

— Хорошо гуляли! — злился Юрий Петрович. — Столб придется новый поставить, Егор Савельич. Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем: поглядим, нет ли где еще такого же веселья.

— Сделаем, — сказал Егор. — Гуляйте, не беспокойтесь.

Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упоенно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебрасываясь словами, но всем троим было хорошо и спокойно.

— Черное озеро, — вздохнула Нонна Юрьевна. — Слишком мрачно для такой красоты.

— Теперь Черное, — сказал Юрий Петрович. — Теперь Черное, а в старину — я люблю в старые книжки заглядывать, — в старину оно знаете как называлось? Лебяжье.

— Лебяжье?

— Лебеди тут когда-то водились. Особенные какие-то лебеди: их в Москву поставляли, для царского стола.

— Разве ж их едят? — удивился Егор. — Грех это.

— Когда-то ели.

— Вкусы были другими, — сказала Нонна Юрьевна.

— Лебедей было много, — улыбнулся Юрий Петрович. — А сейчас пожалуйте — Черное. И то чудом спасли.

На предложение обойти озеро Колька отмахнулся: он спозаранку уже покидал спиннинг, убедился, что до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно:

— Нет, нет, Коля, что ты говоришь! Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения, и вообще…

— Вообще я хочу щуку поймать, — сказал Колька.

— Потом поймаешь, после. Вот вернемся и…

— Да, вернемся! Мне тренироваться надо. Юрий

Петрович вон на пятьдесят метров бросает.

— Коля, но я прошу тебя. Очень прошу пойти с нами.

Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной. Потом сжалился:

— Мы с собой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут ты уже всех щук распугал.

Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал:

— А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна.

Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И смолчала.

Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дело. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича. Наглядел осину для нового столба, покурил подле, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее сподручнее свалить. В молодой осинник — осинок жалко. В ельник — так и его грех ломать. На просеку — так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую разве сторону?

На той стороне ничего примечательного не было: торчал остаток давно сломанной липы. Видно, с тростиночки еще липа эта горя хватила:

изогнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комля начинались и росли странно, растопыркой, и тоже извивались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом — еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул и… И топор опустил. И, еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел к той изломанной липе.

Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при всплеске молнии, а теперь забыл и растерянно глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел.

Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаясь сообразить, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа, и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей и словно прозрел. И вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении.

— Ладно, хорошо, — бормотал он, до физического напряжения всматриваясь в перепутанные

ветви. — Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает, волосы…

Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку: он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неудержимое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испариной лоб. А потом поднялся и, строго сведя выгоревшие свои бровки, решительно шагнул к липе и занес топор.

Теперь он знал, что́ рубить. Он увидел лишнее.

Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи посмотрел им в глаза.

— Тять, а я окуня поймал! — заорал Колька на подходе. — На спиннинг, тять!

Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся.

— Придется, видно, нам его и зажарить. На четверых.

— Я кашу сварю, — торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. — Это быстро.

— Кашу так кашу, — недовольно сказал Юрий Петрович. — Что с вами, Полушкин? Заболели?

Егор молчал.

— Столб-то хоть поставили?

Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся.

— Идемте. Все одно уж.

Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.

— Вот, — сказал Егор. — Такой, значит, столб.

Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилось в зеленом сумраке леса.

— Вот, — тихо повторил Егор. — Стало быть, так вышло.

Все молчали. И Егор сокрушенно умолк и опустил голову. Он уже знал, что́ должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и ругал себя последними словами.

— Баба какая-то! — удивленно хмыкнул подо-

шедший Колька.

— Это — чудо, — тихо сказала Нонна Юрьевна. — Ничего ты, Коля, еще не понимаешь.

И обняла его за плечи. А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:

— Как же ты один дотащил-то ее, Савельич?

— Значит, сила была, — тихо ответил Егор и заплакал.

17

В то утро, когда Егор круги на воде считал да ненароком Нонной Юрьевной любовался, у продовольственного магазина встретились Федор Ипатович с Яковом Прокопычем. Яков Прокопыч по пути на свою водную станцию всегда в магазин заглядывал, аккурат к открытию: не выбросили ли чего любопытного? А Федор Ипатович приходил по сигналам сверху: ему лично завмаг новости сообщал. И сегодня он сюда за селедочкой навострился: забросили в эту точку баночную селедочку. Деликатес. И за этим деликатесом Федор Ипатович первым в очереди угнездился.

— Здорово, Федор Ипатыч, — сказал Яков Прокопыч, заняв очередь девятнадцатым: у завмага да продавщиц не один Федор Ипатович в знакомых ходил.

— Наше почтение, — отозвался Федор Ипатович и газету развернул — показать, что в разговоры вступать не готовится.

В другой бы день Яков Прокопыч, может, и обратил бы внимание на непочтение это, может, и обиделся бы. А тут не обиделся, потому что новость нес обжигающую и спешил ее с души

сложить.

— Что о ревизии слыхать? Какие эффективности?

— О какой такой ревизии?

— О лесной, Федор Ипатыч. О заповедной.

— Не знаю я никакой ревизии, — сказал Федор Ипатович, а строчки в газете вдруг забегали, буквы запрыгали, и ни единого слова уже не читалось.

— Тайная, значит, ревизия, — сделал вывод Яков Прокопыч. — А свояк ничего не сообщает?

— Какой такой свояк?

— Ваш. Егор Полушкин.

Совсем у Федора Ипатовича в глазах зарябило: какая ревизия? При чем Егор? И спросить хочется, и солидность терять боязно. Сложил газету, сунул ее в карман, нахмурился.

— Известно, значит, всем.

А что известно — и сам бы узнать не прочь. Да как?

— Известно, — согласился Яков Прокопыч. — Неизвестны только выводы.

— Какие выводы? — Федор Ипатович насторожился. — Не будет выводов никаких.

— Видать, не в полном вы курсе, Федор Ипатыч, — сказал въедливый Сазанов. — Будут

строгие выводы. На будущее. Для тех выводов учительницу и включили.

Какая комиссия? Какая учительница? Какие выводы? Совсем уж Федор Ипатович намеками истерзался, совсем уж готов был в открытую у Якова Прокопыча все расспросить, да как раз в миг этот магазин открыли. Все туда потекли, вдоль прилавков выстраиваясь, и разговор оборвался.

И уж только потом, когда полностью отоварились, возобновился: Федор Ипатович специально на улице поджидал.

— Яков Прокопыч, чего-то я недопонял. Где, говорите, Полушкин-то обретается?

— В лесу он обретается: комиссию ведет. В ваши заповедные кварталы.

Туча тучей Федор Ипатович домой вернулся. На Марьицу рявкнул, что та чуть стакан в руках удержала. Сел к завтраку — кусок в горло не лез. Ах Егор Полушкин! Ах змея подколодная! Недаром, видать, с учителкой любезность разводил: под должность копает. Под самый корешок.

Весь день молчал, думы свои чугунные ворочал. И комиссия не праздничек, и ревизия не подарок. Но это еще так-сяк, это еще стерпеть можно, а вот то, что свой же сродственник, друг-приятель,

бедоносец чертов, корень жизни твоей вагой поддел — это до глухоты обидно. Огнем это жжет, до боли непереносимой. И простить этого Федор Ипатович не мог. Никому бы этого не простил, а Егору — особо.

Два дня сам не свой ходил и ел через раз. На Марьицу рычал, на Вовку хмурился. А потом отошел вроде, даже заулыбался. Только те, кто хорошо Федора знал, улыбку эту, навеки застывшую, по достоинству оценили.

Ну, а Егор Полушкин про эту улыбку и знать ничего не знал, и не догадывался. Да если бы и знал, внимания бы не обратил. Не до чужих улыбок ему было — сам улыбался от уха до уха. И Колька улыбался, не веря собственному счастью: Юрий Петрович ему на всеобщих радостях спиннинг подарил.

— Главное, я не сразу углядел-то! — в сотый раз с неиссякаемым восторгом рассказывал Егор. — Сперва, значит, вроде ударило меня, а потом позабыл, чего ударило-то. Глядел, глядел, значит, и углядел!

— Учиться вам надо, Егор Савельич, — упрямо талдычила Нонна Юрьевна.

— Вам оно, конечно, виднее, а меня ударило! Ударило, поверите ли, мил дружки вы мои хо-

рошие!

Так, радостно вспоминая о своем внезапном озарении, он и притопал в поселок. И на крайней улице вдруг остановился.

— Что стал, Егор Савельич?

— Вот что, — серьезно сказал Егор и вздохнул. — Не обидите, а? Радость во мне сейчас расставаться не велит. Может, ко мне пожалуете? Не ахти, конечно, угощение, но, может, честь окажете?

— Может, лучше потом, Егор Савельич? — замялась Нонна Юрьевна. — Мне бы переодеться…

— Так хороши, — сказал Юрий Петрович. — Спасибо, Егор Савельич, мы с удовольствием.

— Да мне-то за что, господи? Это вам спасибо, вам!

День был будним, о чем Егор за время своей вольной жизни как-то позабыл. Харитина работала, Олька в яслях забавлялась, и дома их встретило только кошкино неудовольствие. Егор шарахнул по всем закромам, но в закромах было пустовато, и он сразу засуетился.

— Счас, счас, счас. Сынок, ты картошечки спроворь, а? Нонна Юрьевна, вы тут насчет хозяйства сообразите. А вы, Юрий Петрович, вы отдыхайте покуда, отдыхайте.

— Может, хозяйку подождем?

— А она аккурат и поспеет, так что отдыхайте. Курите тут, умойтесь. Сынок покажет.

Торопливо бормоча гостеприимные слова, Егор уже несколько раз успел слазить за Тихвинскую Богоматерь, ощупать пустую коробку из-под конфет и сообразить, что денег в доме нет ни гроша. Это обстоятельство весьма озадачило его, добавив и без того нервозной суетливости, потому что параллельно с бормотанием он лихорадочно соображал, где бы раздобыть десятку. Однако в голову, кроме сердитого лица Харитины, ничего путного не приходило.

— Отдыхайте, значит. Отдыхайте. А я, это… Сбегаю, значит. В одно место.

— Может, вместе сбегаем? — негромко предложил Юрий Петрович, когда Нонна Юрьевна вышла вместе с Колькой. — Дело мужское, Егор Савельич.

Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозил:

— Обижаешь. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди себе. Кури. А я похлопочу.

— Ну, а если по-товарищески?

— Не надо, — вздохнул Егор. — Не порть праздник.

И выбежал.

Одна надежда была на Харитину. Может, с собой она какие-никакие капиталы носила, может, одолжить у кого-нить могла, может, присоветовать что путное. И Егор с пустой кошелкой, на дне которой сиротливо перекатывалась пустая бутылка, перво-наперво рванул к своей благоверной.

— А меня спросил, когда приглашал? Вот сам теперь и привечай, как знаешь.

— Тинушка, невозможное ты говоришь.

— Невозможное? У меня вон в кошельке невозможного — полтора целковых до получки. На хлеб да Ольке на молоко.

Красная она перед Егором стояла, потная, взлохмаченная. И руки, большие, распаренные, перед собой на животе несла. Бережно, как кормильцев дорогих.

— Может, одолжим у кого?

— Нету у нас одалживателей. Сам звал, сам и хлопочи. А я твоих гостей и в упор не вижу.

— Эх, Тинушка!..

Ушла. А Егор вздохнул, потоптался в парном коридоре, что вел на кухню, и вдруг побежал. К последней пристани и последней надежде: к Федору Ипатовичу Бурьянову.

— Так, так, — сказал, выслушав все, Федор Ипатович. — Значит, в полном удовольствии лесничий пребывал?

— В полном, Федор Ипатыч, — подтвердил Егор. — Улыбался.

— К Черному озеру ходили?

— Ходили. Там… это… туристы побывали. Лес пожгли маленько, набедили.

— И тут он улыбался, лесничий-то?

Егор вздохнул, опустил голову, с ноги на ногу перемялся. И надо было бы соврать, а не мог.

— Тут он не улыбался. Тут он тебя поминал.

— А когда еще поминал?

— А еще порубку старую на обратном конце нашли. В матером сосеннике.

— Ну и какие же такие будут выводы?

— Насчет выводов мне не сказано.

— Ну, а на порубку-то кто их вывел? Компас, что ли?

— Сами вышли. На обратном конце.

— Сами, значит? Умные у них ноги. Ну-ну.

Федор Ипатович сидел на крыльце в старой рубахе без ремня и без пуговиц — враспах. Подгонял топорища под топоры: штук десять топоров перед ним лежало. Егор стоял напротив, переступая с ноги на ногу: в кошелке брякала пустая

поллитра. Стоял, переминался, глаза отводил: тот, кто в долг просит, тот загодя виноват.

— Все, значит, сами. И туристов сами нашли, и порубки старые: ловко. Умные, выходит, люди, а?

— Умные, Федор Ипатыч, — вздохнул Егор.

— Так, так. А я глянь, чего делаю. Я инвентарь чиню: его по описи передавать придется. Ну, так как скажешь, Егор, зря я его чиню или не зря?

— Так чинить — оно не ломать. Оно всегда полезное дело.

— Полезное, говоришь? Тогда слушай мой вывод. Вон со двора моего сей же момент, пока я Пальму на тебя не науськал! Чтоб и не видел я тебя более, и слыхом не слыхивал. Ну, чего стоишь, переминаешься, бедоносец чертов? Вовка, спускай Пальму! Куси его, Пальма, цапай! Цапай!

Тут Пальма и впрямь голос подала, и Егор ушел. Нет, не от Пальмы: сроду еще собаки его не трогали. Сам собой ушел, сообразив, что денег тут не одолжат. И очень поэтому расстроился.

Вышел со двора, постоял, поглядел на петуха, что топором его был сработан. Улыбнулся ему, как знакомому, и враз расстройство его пропало. Ну не добыл он денег на угощение, ну стоит ли из-за этого печаловаться, раз с крыши петух орет, а

в лесу дева белая волосы расчесывает? Нет, Федор Ипатыч, не достигнешь ты теперь до обиды моей, потому что во мне покой поселился. Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это они поймут.

И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому. И пустая бутылка весело брякала в такт.

— Товарищ Полушкин! Полушкин!

Оглянулся: Яков Прокопыч. С лодочной, видать, станции: ключи в руке несет.

— Здоров, товарищ Полушкин. Куда поспешаешь-то?

Сказал Егор, куда поспешает.

— Гость важный, — отметил Яков Прокопыч. — А кошелка пустая. Нескладность.

— Чайком побалуются.

— Нескладность, — строго повторил Яков Прокопыч. — Однако если по-соседски, то можно рассудить. Я имею непочатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой. А ты имеешь важного гостя. Пойдет?

— Что пойдет-то? — не понял Егор.

Яков Прокопыч с упреком посмотрел на него.

Вздохнул даже, коря за несообразительность.

— Знакомство.

— Ага! — сказал Егор. — С тобой, что ли?

— Я прихожу со всем припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь. Как бывшего справедливого начальника.

— Ага, — с облегчением сказал Егор, уразумев, наконец, всю сложность товарообмена. — Это пойдет.

— Это ты молодец, товарищ Полушкин, — с чувством отметил Яков Прокопыч, забирая у Егора пустую кошелку. — Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.

С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соломенная шляпа с дырочками.

А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:

— У меня секретарь знакомый. И два председателя.

И не важно для него было, чего они там пред-

седатели, а чего — секретари. У него своя табель была.

И нового лесничего он точно вычислил: чуть повыше директора совхоза и чуть пониже инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чувалова не интересовали Якова Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он бескорыстно знакомился.

— Строгости соблюдаем мало, — говорил он за столом. — Много стало отвлечения в нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Главное в ней — что велено. Но я же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно, без полного к себе уважения. Непонятность.

Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, веселые люди и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.

— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась-то как на нашем солнышке! Налилась, девушка, что

яблочко, вызрела!

И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно:

— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он ежедень, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец — душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и за мать и за отца, и хлебом кормлю, и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вы-

растишь.

Так она плакала, а для Егора все было распрекрасно, все было правильно, и после третьей рюмочки он не выдержал:

— Спой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.

Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, поднатужилась и завела — аж стекла задребезжали:

Зачем вы, девочки, красивых любите…

И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна: тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и с бережением.

Только Яков Прокопыч не пел: хмурился. И жалел, что угощение зря потратил: если начальник песни вторым голосом поет — разве это начальник? Нет, такой долго не продержится, это точно. Сгорит.

18

Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую:

Ах, люди добрые, поверьте. Ды расставанье ды хуже смерти!

А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору, Кольке в доме постелили, а мужчины легли в сараюшке. И вот о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным.

— Егор Савельич, что, если я вам этот лес поручу?

— А как же свояк? Федор Ипатыч?

— Жук ваш Ипатыч. Жук и прохвост: сами видели. Ну, а если по совести? Если лесником вас — будет порядок?

Егор помолчал, поразмыслил. Неделю бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас — странное дело! — сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал,

а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик:

— Порядок будет полный.

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи.

Юрий Петрович на бок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, чувствовал полный, торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка. Без тревог и волнений.

А вот Федор Ипатович спал плохо: всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатович жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался с боку на бок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте.

Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял яишенку вилкой, хмурился, на Марьицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.

Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор

чего-то на петуха показывал и смеялся. Зубы щерил.

— Убери-ка все это, Марьица, — сказал Федор Ипатович.

— Что все, Феденька?

— Жратву убери! — рявкнул он вдруг. — Все, чтоб дочиста на столе!

Не успела Марьица стол вытереть — дверь распахнулась и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот что Чувалов от бурьяновского пожатия свою уберег, это Федора Ипатовича насторожило.

— Славный у вас домик, — сказал Юрий Петрович. — Не тесно втроем-то?

— Это кому тесно? Это нам тесно? Это в родном-то доме… — начала было Марьица.

— Годи! — крикнул хозяин. — Ступай отсюда. У нас свой разговор.

Вышла Марьица к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал.

— И полы тесаные. Богато.

— Все уплачено. Все — по закону.

— Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом: вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем при-

сутствии по акту передать ему имущество и документацию.

— Приказа не вижу.

— С приказом не задержу.

— Когда будет, тогда и передам.

— Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно? Вот и приступим. Как, Егор Савельич?

— Приступим, — сказал Егор.

— Ну, добро. — Федор Ипатович как пуд уронил. — Приступим.

Два дня Егор имущество принимал, каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок.

— Когда вернетесь-то? — спросила Харитина.

— Не скоро, — сказал. — Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся.

Колька вожжами подергал, почмокал: поехали. А Юрий Петрович тем временем, в город прибыв, написал сразу два приказа: о снятии с работы Бурьянова Ф. И. и о назначении на должность Полушкина Е. С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил

заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал:

«Здравствуй, дорогая мамочка!»

Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: *«Дорогая Марина!»* — подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы — неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал.

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зазря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив оттого, что ему не хватает времени, и если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением и, засыпая, успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею.

— Сынок, ты стихи сочинять умеешь?

Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил:

— Про это не спрашивают.

— Я для дела, — пояснил Егор. — Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать: мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал: стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.

— Ладно, — вздохнул Колька. — Попробую.

После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение — про девочку с косичками и про любовь до гроба, — но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову, Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.

— Для дела разве что. А так — баловство это, тять.

— Ну не скажи, — усомнился Егор. — А песни

как же тогда?

— Ну что песни, что песни… Не будешь же ты песни туристам петь, правда?

— Не буду, — согласился Егор. — Некогда. Мы их… это… выжжем.

На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным, Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал первую продукцию.

— Ну, слушай, тять. — Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачастил:

Граждане туристы!
Чтобы было чисто,
Не палите по лесу
Множество костров.
Вы найдите лучше,
Где дровишек куча
И кострище сделано
Лесником.

— Ага, — сказал Егор. — Про кострище — это хорошо, а то еще, не дай бог, лес попалят. Это

пойдет, сынок, молодец.

— У меня еще про муравьев есть, — объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием. — Так, значит:

Я муравей.
Я – житель лесной,
И дом мой стоит
Под высокой сосной.
Ты мимо пройди
И не трогай его,
Нам больше не надо
От вас ничего.

— Вот это да! — с чувством сказал Егор. — Это ты здорово сочинил. И складно.

— Я завтра еще сочиню! — закричал Колька вдохновенно. — Я, может, целую поэму сочиню!

— Надо, чтоб коротко, — уточнил Егор. — Коротко и ясно. Вот как про мурашей.

— Будет коротко, — подтвердил Колька. — Коротко и звонко.

Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и многотерпеливая казенная кобыла уже

к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера.

Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб — упаси бог! — не повалил кто на дровишки или на материал. Может, еще что сообразить для туристов, которые, пронюхав про заповедный уголок, теперь уж ни за что не оставят его в покое. А может, действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу: то-то, поди, удивится!

И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук.

Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков: двое — так двое, пятеро — так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со

стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал:

— Стой и с места не сходи! Фамилия?

Обернулись те двое: Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал.

— Во! — сказал Филя. — Помощник пришел.

А Черепок глядел злыми, красными глазками. И молчал.

— Какое интересное получается явление, — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в дружеские времена. — Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пеньком.

— Зачем повалили? — тупо спросил Егор, пнув ногой лесину. — Кто это велел валить?

— Долг, — вздохнул Филя, но улыбку не спрятал. — Зачем, интересуешься спросить? А в фонд. Отгрузим завтра три пустых поллитры: пусть жгут танки империализма бензиновым огнем.

— Кто велел, спрашиваю? — Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько. — Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?

— Понимай так, что три поллитры. — Филя сладко причмокнул и зажмурился. — Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь.

Егор поглядел на странно сопевшего Черепка, сказал:

— Топоры давайте.

— Топоры мы тебе не дадим, — сказал Филя. — А дадим либо поллитру, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее.

— Я как официальный лесник тутошнего массива официально требую…

— А фамилия моя сегодня будет Пупкин, — вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок. — Так и запиши, полицай проклятый.

Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекозы звенели. И Егор услышал и этот звон, и эту тишину. И вздохнул:

— Какой такой полицай? Зачем так-то?

— В начальство вылез? — захрипел Черепок. — Вылез в начальники и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою перемать?..

Он картинно рванул на груди перепревшую, ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг, без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину:

— Видал?

Грязная, согнутая колесом спина его была вся в

бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине.

— Художественно расписано, — сказал Филя, ухмыляясь. — Видно руку мастерства.

— Все тут расписаны, все! — кричал Черепок, не разгибаясь. — И полицаи, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну, давай! Давай расписывайся!

— Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли, — тихо и неожиданно серьезно сказал Филя. — Укройся. Укройся, Леня, не перед тем выставляешься.

Черепок покорно накинул разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Несмотря на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял:

— А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?

И опять Егор услышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе Черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорово, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал:

— При законе я состою.

— А кто знать-то будет? — спросил Филя. — Что он, считаный, лес-то твой?

— Все у государства считано, — сказал Егор. — И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте.

Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И на руке взвесил:

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные…

— Отдай ему топор, — сказал вдруг Черепок. — Света я не люблю. Я темь люблю.

И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная, перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья.

— Ну, Егор, не обижайся, когда впотьмах встретимся!

Это Филя на прощанье сказал, топоры ему швырнув. А Егор заклеймил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали.

У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.

19

С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и многословно, волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно. И что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется.

— А что требуется? — удивился директор. — Ничего, слава богу, не требуется.

— Глобус, — сказала Нонна Юрьевна. — У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра.

— Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды, — проворчал директор. — Они глобусами в футбол играют, а потом дыра. Кстати, с точки зрения философской дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией.

— Могу и футбол купить, — с готовностью закивала Нонна Юрьевна. — И вообще. Инвентарь.

— Ладно, — согласился директор. — Если в тридцатку уложитесь — отпущу. Дорога за ваш счет.

В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет.

— Вы человек авторитетный, — говорила она, улыбаясь телефонной трубке. — Походатайствуйте за командированного педагога из дремучего угла.

— Походатайствую, — сказал Юрий Петрович бодро. — Голодная, поди? Ну приходите, что-нибудь сообразим.

— Нет… — вдруг пискнула Нонна Юрьевна. — То есть приду.

Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петровича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубку «нет».

А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет

бросился. Накупил булочек, молока, сластей, заказал чай горничной. Только успел в номере прибрать и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна.

— Извините. Вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?

— Что? Ах да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем — еще позвоню.

Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманных намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный, и втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все, а остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью.

Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с недевичьим аппетитом. Юрий Петрович лично сооружал их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще расспрашивал: ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом.

— Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?

— Безусловно.

— А разве тупое «будет сделано» не рождает бездумного соглашательства? Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна.

— Личность сама по себе еще не идеал: Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность.

Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской.

— Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?

— Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека. А интеллигентность — оценка качественная. Конечно, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. И для меня, например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами.

— Суровая у вас шкала оценки.

— Зато правильная.

— А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?

— Скромность, — сказала она, вдруг потупившись.

Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай.

— Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?

— Ах, да! — спохватился Юрий Петрович. — Конечно, конечно.

Он прошел к телефону и, пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело, и Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось:

— Коммунхоз? Мне начальника отдела. Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов. Да-да, я звонил вам. Что? Но это невозможно, Иван Петрович! Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу…

По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями, и если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку.

Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека.

Пока шел студенческий ужин с молоком и пирожными, девчонка, уживавшаяся в ее существе рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина: это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему, это она настойчиво вспоминала, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер.

И еще эта женщина сердито говорила сейчас Нонне: «Не будь дурой». Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчивее: «Не будь дурой. Ты же ради него организовала эту командировку, так не будь же идиоткой, Нонка». И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним.

Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия Петровича с телефонной трубкой. А очнулась, только когда он сказал:

— Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице.

Женщина возликовала, а девчонка перетрусила. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей-то самой: радоваться или пугаться?

— Боже мой, но у меня в городе нет знакомых.

— А я? — Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. — Номер «люкс», места хватит.

— Нет, нет… — сказала Нонна Юрьевна, но эти два «нет» прозвучали как одно «да», и Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване.

Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна остается, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью.

— Можно воспользоваться ванной?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. — Полотенце только сегодня меняли. Вот…

— Благодарю вас.

И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик.

Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты:

— Тут задвижки нет!

— Я знаю, не беспокойтесь, — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение.

Надо сказать, что, в отличие от Нонны Юрьевны, он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. И поэтому ему было и легче, и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами.

— Ой! — сказала эта девчонка, старательно запахивая халатик. — У вас и дверей нет.

Спальная двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге.

— Стул поставьте, — посоветовал Юрий Петрович. — Если я спросонок перепутаю, куда идти, то наткнусь на стул. Он загремит, и вы успеете заорать.

— Благодарю вас, — холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом. — Спокойной ночи.

Юрий Петрович ушел в ванную, нарочно долго умывался, чтобы Нонна Юрьевна успела не только улечься, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся.

— Ч-черт! — громко сказал он.

— Вы еще не спите? — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна.

— Нет еще. — Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова. — Что вы хотели, Нонна?

Нонна промолчала, а его сердце забилось легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул.

— Ч-черт!..

Нонна Юрьевна тихо засмеялась.

— Вам смешно, а я рассадил ногу.

— Бедненький.

В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик. И сразу остановился.

— Вы так и будете сидеть всю ночь?

— Может быть.

— Но ведь это глупо.

— А если я дура?

Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил: ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустился на колени на вытертый гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и беззащитно.

— Нонна… — Он целовал ее руки. — Нонночка, я…

— Зажгите свет. Ну пожалуйста.

— Нет. Зачем?

— Тогда молчите. Хотя бы молчите.

Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца.

— Нонна, я должен тебе сказать…

— Да молчите же. Молчите, молчите!

Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда он здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей — ей! — руки?

Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет — она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все проносилось, мелькало в ее голове, это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка, а женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки.

Она осторожно потащила их на себя, а он не отпускал и утыкался в ладони лбом.

— Нонна, я должен тебе сказать…

— Нет, нет, нет! Не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу!

— Нонна, я старше, я обязан…

— Поцелуй меня.

Нонна с ужасом услышала собственный голос, и девчонка забунтовала, забилась в ней. А Юрий Петрович еще стоял на коленях, еще был далек, так недосягаемо далек для нее. И она повторила:

— Поцелуй, слышишь? Меня еще никто, никто не целовал. Никогда.

Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы куда глаза глядят или назло всем съела бы целую коробку спичек: таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка

победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась.

А потом… Что было потом?

— Нонна, я люблю тебя.

— Теперь говори. Говори, говори, а я буду слушать.

Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора, сейчас и отважная женщина, и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе.

— Я схожу за сигаретой. Ничего?

— Иди.

Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок. И сказала:

— Кури здесь. Рядом.

Белая фигура остановилась в дверном проеме.

— Ты должна презирать меня. Я поступил

подло, я не сказал тебе, что… — Смелость Юрия Петровича испарялась с быстротой почти антинаучной. — Нет, я не женат… То есть формально я женат, но… Понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан…

— Обязан? Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?

Это был чужой голос. Не женщины и не девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе.

— Не волнуйся: мы же современные люди.

Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос, и в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И, несмотря на то что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно: стыдно было ему, и Нонна это понимала.

— Мы вполне современные люди, — повторяла она, изо всех сил улыбаясь. — Замужество, загсы, свадьбы — какая чепуха! Какая, в сущности, все чепуха! Все на свете! Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина.

Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Нонна спокойно

оделась, спокойно расчесала волосы.

— Нет, нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное: что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что они могут про тебя подумать!

Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, прижав к себе новый, круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать.

А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а три дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимо сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости!..» Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигла участь предыдущих.

— Надо поехать, — твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати. — Завтра же, утренним поездом.

Но приходило утро, и уходила решимость, и

Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами. Нет, не за Нонну Юрьевну.

Два года назад в глухое алтайское лесничество приехала из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения, потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за двести километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка покружилась по комнате и объявила:

— Стели постель. Только, чур, я сплю у стенки.

К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову.

— Одевайся, — сказал он. — Едем в сельсовет.

Практикантка нежилась поверх сбитых простыней.

— В сельсовет?

— Распишемся, — сказал он, торопливо натягивая рубаху.

— Вот так, сразу? — Она рассмеялась. — Как

интересно!

Они подкатили к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле, в десять минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта, а через три дня молодая жена укатила в Москву. Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку:

«Благодарю».

Обратного адреса практикантка не оставила, и Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через два месяца и был коротким, как их супружеская жизнь:

«Я потеряла паспорт. Советую сделать то же самое».

Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писем больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену:

— Знаешь, у Марины ребенок.

Он все-таки разыскал ее. Написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно три слова:

«Все может быть».

И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он: муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выводил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова.

А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить: да или нет, — а так оставалось еще спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. Три дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил:

— Тут интересного для тебя мало: леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик.

Сказал и испугался: вдруг согласится?

— Опять комаров кормить?

— Комаров нет: мошка появилась. — Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает. — А массив интересен с точки зрения естественного биоценоза: как раз твой конек.

— Ладно, уговорил, — сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился.

Прибыв в поселок, Чувалов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне. Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок. Потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы.

— В Ленинграде Нонна Юрьевна. Три дня как уехала.

— Когда вернется?

— Должна двадцатого августа, но… — Директор вздохнул. — Аналогичный случай был в позапрошлом году.

— Что вы говорите?

— Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой «по собственному желанию».

— Не может быть!

— Все может быть, — философски сказал директор. — Конечно, Нонна Юрьевна — педагог серьезный, но ведь и Ленинград — город серьез-

ный.

— Да, да, — тихо сказал Юрий Петрович. — Адреса мамы не знаете?

Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже без всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив.

— Пешком поволок, — ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге. — И спать, наверное, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чувалов, недаром до сих пор бобылем живешь.

— Оставь это! — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович. — Привыкли треп в кабинетах разводить!

— Нет, ты настоящий бирюк, — сказал, помолчав, начальник. — Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоем хозяйстве. Лес ухожен, порубок не видно. Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится.

Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганых досок. На щите были выжжены стихи:

Стой, турист, ты в лес вошел,

Не шути в лесу с огнем,
Лес – наш дом,
Мы в нем живем.
Если будет в нем беда,
Где мы будем жить тогда?

По бокам щита раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопыча.

— Толково, — сказал начальник. — Твоя инициатива?

— Еще чего! — сказал Юрий Петрович. — Сам удивляюсь, когда он все успел.

— Кто?

— Лесник мой. Егор Полушкин.

— Любопытно, — сказал начальник. — Это я сниму.

И полез за фотоаппаратом. Чувалов усмехнулся:

— Пленки не хватит.

К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.

— Значит, ты автор? — допрашивал он Кольку. — Молодец! Поэтом будешь?

— Не-а. — Колька застеснялся. — Лесничим. Как

Юрий Петрович.

— За это ты вдвойне молодец, Николай!

Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальника, Егор тихо отодвигался от костра.

Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.

— В Москве бывал когда, Егор Савельич?

— В Москве? — Егор не умел так быстро перестраиваться. — Чего там?

И Юрий Петрович с ходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но ему все время мешало смутное упоминание о Москве. Поэтому он и переспросил:

— Ну, дык, она-то в Москве?

— Эй, заговорщики, уху хлебать! — весело окликнул начальник.

Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашался на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства за особые, видать, заслуги, поскольку в лесниках ходил без году неделю.

— Слона погляжу, сынок, — сказал Егор.

— Слона глядеть — невелик прибыток, — проворчала Харитина. — Ты главный ГУМ погляди: люди денег собрали и список составили, кому чего нужно.

Никого на Егоровых проводах не было, только Яков Прокопыч. У того своя просьба:

— Докладывать придется — про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо: мол, удобства, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность.

Совсем уж к поезду собрались — Марьица. Засветилась улыбкой еще сквозь двери:

— Ах, Егор Савельич, ах, Тинушка! В Москву ведь, не в область.

— Совершенно согласен, — сказал Яков Прокопыч.

Но не Яков Прокопыч Марьице сейчас был нужен. Она с Егора Полушкина, с бедоносца божьего, глаз масленых не сводила.

— Егор Савельич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно, и от сына тайно. Спаси ты нас, Христа ради. Угрозыск ведь Федора-то Ипатыча таскает. По миру ведь закруглить грозятся.

— Закон уважения требует, — строго сказал Яков Прокопыч.

Егор промолчал. А Марьица заплакала и сестре

в плечо уткнулась.

— Пропадем!

— Скажи ты начальнику какому, Егор, — вздохнула Харитина. — Родня ведь. Не сторонние.

— А кто меня спросит? — нахмурился Егор. — Велико ли дело — лесник в Москву приехал.

Как ни плакала Марьица, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан — специально для Москвы самый большой купили, — попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марьица домой побежала.

— Ну, что обронено? — спросил Федор Ипатович.

— Отказал он, Феденька. Гордый стал больно.

— Гордый? — И желваки по скулам забегали. — Ну, добро, если гордый. Добро.

А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали: в Москву! в Москву! в Москву!..

Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил: с Юрием Петровичем у вагонного окна. И колеса тут по-иному стучали: в Ленинград! в Ленинград! в Ленинград!..

20

Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билет ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении.

Впервые Егор ехал в купейном вагоне, где из бережливости не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфяке, опасаясь ворочаться, чтобы никого не разбудить.

К утру он весь занемел и прибыл в столицу в окостенелом состоянии.

Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора встретили и определили в гостиницу.

— Вам, вероятно, придется выступить в прениях, — сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер.

— В чем?

— В прениях. — Молодой человек достал бумагу, положил на стол. — Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь.

— Ага, — сказал Егор. — А зоопарк далеко?

— Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек. — По-моему, метро «Краснопресненская». Завтра в десять утра ждем в министерстве.

— Загодя приду, — заверил Егор.

Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции «Краснопресненская», и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро.

В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоновником замер. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно: обсыпался песком, фыркал и подбирал булки, что кидали ему дети через загородку. Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался:

— Что, мужик, хороша скотинка?

— Это животная, — строго поправил Егор.

— Верно. — Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно. — Не боишься?

— А чего? Ты же не боишься?

— Ну, помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил.

— Я в поселке живу.

— Все равно похвастаешься.

Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон, поменьше. Он вкусно хряпал свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крючочком хобота.

— Умная животная! — восторгался Егор.

Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилось:

— Орут.

Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружились. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере.

— Раньше Лебяжьим называлось, а теперь — Черное.

— Вымирает живая красота, — вздыхал служитель. — Одни зоопарки скоро останутся.

— Зоопарк — это не то.

— Не то, ясное дело.

Егор ушел из зоопарка последним, когда ГУМы и ЦУМы были уже закрыты.

Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес и узнал у милиционера, как ехать.

Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти.

На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина.

— Здравствуйте, — сказал Егор, загодя сняв кепку. — Мне бы Марину.

— Я Марина.

Длинноволосая глядела недобро, и разговор приходилось начинать через порог.

— Я к вам от Чувалова. От Юрия Петровича.

Она явно решала, как поступить, и Егору показалось, что решала со страхом.

— Так, — наконец сказала она и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. — Ну, проходите. На кухню.

Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке.

Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла.

— Кто там, Мариночка? — донесся из комнат мужской голос.

— Это ко мне! — резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. — Так в чем же дело?

Сесть она не предлагала, и это враз успокоило Егора.

Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял.

— В комнатах-то, поди, муженек обретается?

— А вам какое дело?

— Мне дела нет, а вот ему — не знаю.

— Угрожать пришли?

— Зачем же так-то? Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не даете. Хорошо ли?

— Да как вы смеете?..

— Смею уж, — негромко сказал Егор. — Хватит злом-то пыхать. Что он дурного-то сделал вам?

— Сделал, — усмехнулась она и закурила сигарету. — Объяснять бесполезно: если он до сих пор не понял, то вы и подавно.

— Растолкуйте, — сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку. — Затем и пришел.

— Я вас выгоню сейчас отсюда, вот и все объяснения.

— Нет, не выгоните, — сказал Егор. — Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали и, значит, семейством своим дорожите.

— Опять угрозы? Слушайте, мне надоело…

— Дали б водички, — вздохнул Егор. — В столовке селедки три порции съел — горю.

— Ух, нахалище! — Она достала из стенного шкафчика расписанную глиняную кружку, спросила через плечо: — Прикажете со льдом?

— Зачем? — удивился Егор. — Простой налей, колодезной.

— Колодезной… — Она шмякнула о стол кружкой, вода плеснула через край. — Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится.

Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал.

Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами.

— Что вам еще от меня нужно?

— Мне-то? — Егор посмотрел: и чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то.

— Муж!.. — Она презрительно передернула плечами. — Пенек он лесной, ваш Чувалов.

— Ругать не ласкать: не скоро заморишься.

— Оскорбить женщину и даже не заметить — как это благородно!

— На оскорбить не похоже, — с сомнением сказал Егор. — Юрий Петрович — человек уважительный.

— Уважительный! — насмешливо повторила Марина. — Скажите честно, если женщина — ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец, — перес… — она запнулась, — ну, переночует, у вас хватит соображения утром не совать ей деньги?

— Соображения у нас хватит. Денег у нас нет.

— Он тоже платил не наличными. Просто решил меня осчастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его.

— Что, силой штампы ставили-то?

— Ну зачем же… — Она вдруг улыбнулась. — Ну я дура, дура я была, легкомысленная, это вам надо? Мне сначала даже понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала.

— Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь?

Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами, теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали.

— Я паспорт потеряла, — виновато сказала она. — Может, и он так, а?

— Сама завралась и его врать учишь? С новым-то как живешь?

— Хорошо.

— Я не про то. Я про закон…

— Расписались.

— Ах ты, господи!..

Егор вскочил, пометался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Хорошо.

— Зови его сюда.

— Что? — Она вдруг выпрямилась, вновь став холодно-надменной. — Вон отсюда. Немедленно, пока я милицию…

— Ну, зови милицию, — согласился Егор и опять уселся.

Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека.

Егор посидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо:

— Узнают — хуже будет: закон ведь нарушен.

— Уходите! — почти беззвучно закричала она. — Зачем вы пришли, зачем? Ненавижу шантаж!

— Чего ненавидишь?

Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям.

— Стойте!

Егор не остановился. Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна, и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату.

У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно:

— Черчу, как проклятый. Диплом в сентябре защищать.

В противоположном углу в кроватке спал ребенок. А парень с удовольствием потянулся и пояснил:

— Я на вечернем. Трудно!

То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор враз на оба уха, а только услышал он жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова

сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина.

— Ну давай, давай трудись, — сказал он парню и тихонько вышел из комнаты.

Егор поздно вернулся в гостиницу. Съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал.

Утром он встал позже, чем рассчитывал. Умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает.

Кое-как, наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы.

А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию:

— …такие, как, например, товарищ Полушкин. Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин: он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать…

Но Егор уже не слушал, что хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар: бумажки-то остались на столе, и что в них было сказано, Егор и знать не знал, и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, похлопал вместе со всеми и, когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбегать в гостиницу. И уж почти добрался до дверей, но тут гулко покашляли в микрофон, и чей-то голос сказал:

— Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума. Повторяю…

— Это меня, что ль, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях.

— Ну, если вы тот Полушкин…

— Ага! — сказал Егор и полез встречь людского потока.

За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашебаршились, резво схватившись за аппараты.

— Несколько снимков. Повернитесь, пожалуйста.

Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит понапрасну. Потом долго отвечал на вопросы, кто, да откуда, да что удумал такое

особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась: уж звонки прозвенели. Егора отпустили, но выйти он уже не смог, а сел на место, решив, что сбегать придется на втором перерыве.

Первый выступавший говорил складно и Егору понравился. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию.

— Подготовиться товарищу Полушкину.

— Чего сказали-то?

— Подготовиться.

— Как это?

— Тише, товарищи! — недовольно зашумели сзади.

Егор примолк, лихорадочно соображая, как готовиться. Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вторую половину расслышал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился.

— Нужны дополнительные законы, — говорил оратор, суровея от собственных слов. — Ужесточить требования. Карать…

Кого карать-то? Егор с неохотой — из вежливости — похлопал, а тут выкликнули:

— Слово предоставляется товарищу Полушкину.

— Мне? — Егор встал. — Мне бы потом, а? Я это… бумажки забыл.

— Какие бумажки?

— Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл. Вы погодите, я сбегаю.

Зал весело зашумел:

— Давай без бумажек!

— А кто написал-то?

— Смелей, Полушкин!

— Проходите к трибуне, — сказал председатель.

— Зачем проходить-то? — Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу. — Я же говорю: сбегаю. Они… это… на столе.

— Кто они?

— Да бумажки. Написали мне, а я позабыл.

Хохотали, слова заглушая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову, и вздыхал.

— А без чужих бумажек вы говорить не можете? — спросил министр.

— Ну, дык, поди, не то скажу.

— То самое. Проходите на трибуну. Смелее, товарищ Полушкин!

Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что́ скажет.

— Люди добрые! — громко сказал Егор, и зал опять покатился со смеху. — Погодите ржать-то: я не «караул» кричу. Я вам говорю, что люди — добрые!

Замолчали все, а потом вдруг зааплодировали. Егор улыбнулся.

— Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает.

— Правильно! — сказал министр. — Только уметь надо ими пользоваться.

— Нужда научит, — сказал Егор. — Но я к тому, чтоб нужды такой не было. Этак-то просто: поставил солдат с ружьями и гуляй себе. Только солдат не наберешься.

И опять зааплодировали. Кто-то крикнул:

— Вот дает товарищ!

— Вы мне не мешайте, я и сам собьюсь. Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а не угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а вот что от добра добро родится, это не очень. А ведь это и

есть главное!

Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить, он и говорил. И говорилось ему как пелось.

— Вот сказали: делись, мол, опытом. А зачем им делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок? Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей — сам бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное, вот тогда и выйдет радостно всем.

Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием:

— Но радости покуда наблюдается мало. Вот я при Черном озере состою, а раньше оно Лебяжьим называлось. А сколько таких Черных озер по всей стране нашей замечательной — это ж подумать страшно! Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали: Лебяжьими или Гусиными, Журавлиными или еще как, а только чтоб не Черными, мил дружки вы мои хорошие. Не Черными — вот какая наша забота!

Снова зааплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и, поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул. И сморщился: соленая была вода.

— Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны, вроде учат: природа — дом родной. А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку.

Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся:

— Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станцией. Распишем лодочки: ты — на гусенке, а я — на поросенке: ну-ка, догоняй!

И под общий смех и аплодисменты пошел на свое место.

Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре: какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии: хватит, мол, покорять, пора оглянуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить Черные озера в живые и звонкие, и назвал это почином товарища По-

лушкина. А потом Егора наградили Почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома.

С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать надо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по ГУМам и ЦУМам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк.

Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился:

— Каких лебедей? Мы не торгующая организация.

— Я бы и сам словил, да где? Говорю же, Черное у нас озеро. А было Лебяжье. Министр говорит: почин, мол, полушкинский — мой, значит. А раз почин мой, так мне и начинать.

— Так я же вам объясняю…

— И я вам объясняю: где взять-то? А у вас их полон пруд. Хоть в долг дайте, хоть за деньги.

Егор говорил и сам удивлялся: сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись, и смелость — свободу он в душе своей чувствовал.

Весь день спорили. К какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали. Столковались,

наконец, и выделили Егору две пары шипунов; избили и исщипали они Егора до крови, пока он их в клетку запихивал. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писал, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем.

Полтора дня метался да хлопотал, а про ГУМ с ЦУМом только у поезда и вспомнил. Да и то зря: денег на ГУМы не осталось, все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале что под руку попалось, залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул.

И приснились ему слоны…

21

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по-змеиному шипели лебеди.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!

— Крылья им подрезать велели, — вдруг встрепенулся Егор. — Чтоб на юг не утекли.

Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бессилия. Егор за ножницами побежал — крылья резать. А Федор Ипатович в доме своем со смеху покатывался:

— Ну бедоносец чертов! Ну бестолочь! Ну экземпляр!

Все над Егором потешались: надо же, заместо ГУМов с ЦУМами лебедей приволок! В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец.

Только Яков Прокопыч не смеялся. Серьезно одобрил:

— Привлекательность для туризма.

А Кольке было не до смеху. Пока тятька его в Москве слонами любовался, дяденьку Федора Ипатовича уж трижды к следователю вызывали. Федор Ипатович по этому случаю Кодекс купил, наизусть выучил и так сказал:

— Видать, дом отберут, Марья. К тому клонится.

Марьица в голос взвыла, а Вовка затрясся и щенка побежал топить. Еле-еле Колька умолил его, да и то временно:

— Коли выселят — назло утоплю!

Сказал — как отрезал. И сомнения не осталось: утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелась, какие постарше, и на Кольку напраслину наговаривала. Будто он за нею бегает.

А Егор на другой день к озеру подался. Домики лебедям построил, а тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве.

Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора.

Разговор состоялся вечером у самовара. Жену — докторшу, что столько раз Кольку йодом мазала, — к роженице вызвали, и директор хлопотал сам.

— Покрепче, Егор Савельич?

— Покрепче. — Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал. — Что же нам с Нонной-то Юрьевной делать, товарищ директор?

— Да, жалко. Хороший педагог.

— Вам — педагог, мне — человек, а Юрию Петровичу — зазноба.

То, что Нонна Юрьевна для Чувалова — зазноба, для директора было новостью. Но вида он не подал, только что бровями шевельнул.

— Официально разве вернуть?

— Официально — значит, через «не хочу». Нам годится, а Юрию Петровичу — вразрез.

— Вразрез, — согласился директор и пригорюнился.

— Видно, ехать придется, — сказал Егор, не дождавшись от него совета. — Вот зазимует, и поеду. А вы письмо напишите. Два.

— Почему два?

— Одно — сейчас, другое — погодя. Пусть свыкнется. Свыкнется, а тут я прибуду, и решать ей придется.

Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался: сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами картина.

Егор даже встал, углядел ее. Красным полыхала картина та. Красный конь топтал иссиня-черную тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой.

Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если б случилось ему такого коня расписывать, потому что это был не просто конь, не сивка-бурка — это был конь самой Победы. И он пошел к этому коню как завороженный — даже на стул наткнулся.

— Нравится?

— Какой конь! — тихо сказал Егор. — Это ж… Пламя это. И парнишка на пламени том.

— Подарок, — сказал директор, подойдя. — И символ прекрасный: борьба добра со злом, очень современно. Это Георгий Победоносец. — Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. — Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло,

лед и пламень.

— Тезка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке бедоносцем зовут. Слыхали, поди?

— Да. — Директор смутился. — Знаете, в наших краях прозвище…

— Я-то чего думал? Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу. А не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я тезке-то своему, вот что оказывается.

И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами его маячил. Конь и всадник на том коне.

— Не под масть я тебе, Егор Победоносец. Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа.

— Красота! — сказал Юрий Петрович, навестив Егора.

Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение.

Он уже побегал по лесу, выискал пару коряг, и еще два лебедя гнули шеи возле его шалаша.

— Тоскуют, — вздохнул Егор. — Как свои проле-

тают — кричат. Аж сердце лопается.

— Ничего, перезимуют.

— Я им сараюшку уделаю, где кабанчик жил. Ледок займется — перевезу.

Юрий Петрович ничего на это не ответил. Нонна Юрьевна возвращаться отказалась, как он ни упрашивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться.

— Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, чтоб озеро обратно Лебяжьим звали.

— Напишу, — вздохнул Чувалов.

Юрий Петрович, невесело приехав, невесело и уехал. А Егор остался: невдалеке от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался: Филя с Черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал: любил взрывчаткой баловаться. С войны еще, с партизанщины.

Потом, однако, заглохли и дальние взрывы, и рев машин: дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, по обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди.

Осень у крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливой и выжила-таки

Егора с озера. Он перебрался в дом, сперва наведывался к лебедям ежедневно, потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделать требовалось: по утрам уж ледок похрустывал.

А та ночь на диво разбойной была. Тучи чуть за ели не цеплялись, косило из них дождем без передыху, а ветер гулял — аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, баньку парную принял, чайку с малиной — спать бы ему да спать. А он тревожился: как лебеди там? Надо бы перевезти — уж и сараюшка почти готова, — да расхворался некстати. Ворочался, жег Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить.

Чуть вроде затишело: и лес шумел поласковее, и дождик не сек — моросил только. Егор скрутил цигарку, пристроился на крылечке, прикурил — ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что гром, да какой мог быть гром темной осенью? И, еще не поняв, что это ударило, что за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать.

Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина выглянула, в одной рубашке, грудь прикрывая.

— Ты что это удумал, Егор! Жар ведь у тебя.

— На озеро съезжу, Тинушка, — сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу. — Неспокойно мне что-то. Да и Колька давеча про туриста говорил.

А Колька вчера дяденьку сивого у магазина встретил. Того, что муравейник поджигал.

— А, малец!

— Здравствуйте, — сказал Колька и убежал.

Водку сивый тот нес. Целую авоську: в дырки горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал.

Не удержала его тогда Харитина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, поперек дороги бы легла, а не зная, ругнула только:

— Да куда же понесло-то тебя, бедоносец божий?

Такими были ее последние слова. Неласковыми. Как жизнь.

Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. И подумал о лебедях, что подплывали на людские голоса, доверчиво подставляя крутые шеи.

Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бе-

жала следом и жарко дышала в спину. Потом отстала: сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь.

Издалека он костер углядел: сквозь мокрые еловые лапы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся:

— Под кустами смотри: вроде щука.

— Темно-о!..

Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось, и трясло его.

— Стой! — закричал он еще в кустах, в темноте еще.

Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило, и выбежал он к костру молча. Стал, хватая ртом воздух, в миг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединые лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел — подле. Белых, еще не ощипанных, но уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал: деревянный. Черный теперь, как озеро.

— Стой… — шепотом сказал он. — Документ давайте.

Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав:

— Лесник.

Шумел ветер, булькала вода в кастрюле, да трещал, догорая, деревянный лебедь. И все покуда молчали.

— Документы, — пересохшим горлом повторил Егор. — Задерживаю всех. Со мной пойдете.

— Вали отсюда, — негромко и лениво сказал тот, что остался у костра. — Вали, пока добрые. Ты нас не видел, мы тебя не знаем.

— Я в доме своем, — задыхаясь, сказал Егор. — А вы кто есть, мне неизвестно.

— Вали, говорю.

С озера опять донесся веселый плеск и голос:

— Хорош навар! Пуда полтора…

— Рыбу глушите, — вздохнул Егор. — Лебедей поубивали. Эх, люди!..

В темноте возник силуэт.

— Продрог, растудыт твою. Сейчас водочки бы хватануть, хозяин…

Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге.

— Чего ему тут надо? — спросил тот, что в тень отступил.

— По шее.

— Это мы можем.

— Документы, — упрямо повторил Егор. — Все равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам.

— Не стращай, — сказали в темноте. — Не ясный день.

— Он не стращает, — сказал первый. — Он цену набивает. Точно, мужик? Ну как, сойдемся? Пол-литра у костра да четвертной в зубы — и гуляй, Вася.

— Документы, — устало вздохнул Егор. — Задерживаю всех.

Он весь горел сейчас, в голове шумело, и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у огня, но он знал, что не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов.

Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались, а четвертого не было: прятался.

— Полсотни, — сказал первый. — И заворачивай гужи.

— Документы. Задерживаю всех. За нарушения.

— Ну, гляди, — угрожающе сказал первый. — Не хочешь миром — ходи в соплях.

Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в

лебедя. Второй пошел к озеру, навстречу тому, что насвистывал.

— Зачем же лебедей-то? — вздохнул Егор. — Зачем? Они ведь украшение жизни.

— Да ты поэт, мужик.

— Собирайтесь. Время позднее, идти не близко.

— Дурак! Дай ему по мозгам.

Хакнули за спиной, и тяжелая жердь, скользнув по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени.

— Не сметь! Нельзя меня бить: я законом поставлен! Документы требую! Документы…

— Ах, документы тебе?..

Еще и еще раз обрушилась жердь, а потом Егор перестал уж и считать-то удары, а только ползал на дрожащих, подламывающихся руках. Ползал, после каждого удара утыкаясь лицом в мокрый, холодный мох, и кричал:

— Не сметь! Не сметь! Документы давай!

— Документы ему!..

И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал:

— Собаку на него! Собаку!

— Куси его! Куси! Цапай!

Но собака не брала Егора, а только выла, стра-

шась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его все били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

— Брось, Леня, убьем еще.

— У, гад!..

— Оставь, говорю! Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин, да деньгу гони, как сговорено.

Кто-то с оттяжкой, изо всей силы ударил сапогом в висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху — и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный, и, шлепая разбитыми губами, прохрипел:

— Я законом… Документы…

— Ну, получи документы!

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал.

Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к дому. Полдороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским.

На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечал на вопросы. А следователь все время переспрашивал, потому что не разбирал слов: и зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали.

— Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы…

Егор молчал, серьезно и строго глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя.

— Может быть, встречались с ними до этого? Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже?

— Не знал бы — казнил, — вдруг тихо и внятно сказал Егор. — А знаю — и милую.

— Что? — Следователь весь вперед подался, напрягся весь. — Товарищ Полушкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?

Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила, и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провожать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым:

председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда и петуха вспомнил и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный мотор, а зла в душе ни к кому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас, даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко — как уснуть.

Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просятся, что, может, позволит он: уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ: она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович.

Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал:

— Егор, Егорушка.

— Садись. — Егор с трудом разлепил губы.

Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой горестно. Будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал почему.

— Живой ты, Егор?

— Живой.

Федор Ипатович вновь завздыхал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из-под полы халата пузатую бутылку.

Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали.

— Ты не страшись, Федор Ипатыч.

— Что? — вздрогнул Бурьянов, глаза расширя.

— Не страшись, говорю. Жить не страшись.

Гулко сглотнул Федор Ипатович. На всю палату. Взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое, пахучее.

— Выпей, Егорушка, а? Сглотни.

— Не надо.

— Хоть глоточек, Егор Савельич. Двадцать пять рубликов бутылочка, не для нас сварено.

— Не для нас, Федор.

— Ну выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи!

— Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой.

— Да как же, Савельич…

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак.

Федор Ипатович всхлипнул, тихо поставил стакан и встал.

— Только прости ты меня, Егор.

— Простил. Ступай.

Федор Ипатович покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям.

— Пальму не стрели, — вдруг сказал Егор. — Что не взяла она меня, в том вины ее нет. Меня собаки не берут, слово я собачье знал.

Федор Ипатович тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он нес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому, черному лицу его текли слезы. Одна за другой, одна за другой.

А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгает зло.

Вот. А Колька Полушкин все-таки отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь.

От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво, и я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок.

Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам лучшую лодку. А вечером пьем с Харитиной чай, глядим на Почетную грамоту и вспоминаем Егора.

Яков Прокопыч стал говорить еще ученее, чем прежде. Черепок попал под Указ, а Филя по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день Пасхи он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск.

— Погоди, Егор. Черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.

Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали; там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.

К Черному озеру Колька ходить не любит. Там

другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее.

На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.

А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки…

Коррида в Большом Порядке
Больничный рассказ

Что это вы все так слепо телевидению верите? Ах, по телевизору то-то сказали, ох, по телевизору то-то показали… А вот однажды по этому самому телевизору объявили, будто быку что красное, что черное — все едино, лишь бы оно двигалось. Ну так ерунда это, псевдотеория, а практика — вот она, эта коечка, и я при ней. По теории-то я через два месяца священный долг должен исполнять, а на практике что вышло? А вышло то, что я в семнадцать лет десятилетку закончил, на экзаменах в институт срезался и мама меня в деревню отправила к дальним родственникам. И оказался я в Большом Порядке.

Но сперва поясню, а то еще не так поймете. Большой Порядок — это так село наше называется. Когда-то два порядка были — Большой Порядок и Малый Порядок. Ну, Малый долго не продержался.

Родственник рассказывал, что продавщица там глупая попалась. За трезвость боролась в те еще времена, когда все чувство законной гордости

испытывали. Ну и, конечно, упустила весь Малый Порядок. Разбежался он по иным точкам, и частично к нам, в Большой. И с того времени во всей округе остался только Большой Порядок, а на месте Малого один бурьян да крапива под два метра.

Между прочим, на первой моей работе — меня для начала в мастерские определили — говорили, что от крапивы тоже балдеют, как от мака или конопли. Если, говорили, в баньке как следует напариться, а потом вместо озера голым в крапиву сигануть — сильное средство. Чумеешь и вырубаешься. Конечно, сейчас разные способы испытывают, так что удивляться нечему. У нас в мастерских один испытатель ведро из-под мазута на голову, бывало, напялит и ходит часов пять, как пес-рыцарь. Потом падает и — балда балдой. Я лично убежден был, что не столько от мазута, сколько от грохота, но доказать не успел: меня в пастухи перевели. Мама, видите ли, решила, что я должен укреплять свое здоровье перед армией, и упросила нашего председателя перевести меня на природу. Тут еще родственничек наш помог, Сергей Владимирович — ну, о нем разговор особый, — и меня перекинули на скотину.

Это все как-то быстро произошло, и мне при-

шлось опыт насчет влияния грохота на организм ставить в коровьем обществе. И я его осуществил и могу смело поспорить кое с кем. Я нормальное ржавое, правда, ведро надел и пошел коров пасти. Ну, что сказать? Во-первых, конечно, жарища, как в домне, а во-вторых, всякий звук возрастает в немыслимой степени. Овод в железо врежется, а у тебя — шары из глаз. Но я терпел ради опыта, пока на корову не налетел. А она мне — хвостом по кумполу. А на кумполе — ржавое ведро. Так я вам скажу, что никакого наркотика мне не потребовалось: я сразу свой кайф поймал и минут сорок из него не вылазил. Не мог никак, ведро сильно погнулось.

Ну я же не про то, не про кайф. Я про быков теперь теорию оспариваю, потому что имею все основания, исходя из практики. И когда мне официально по телевизору мозги пудрят, что быку, мол, что красное, что белое — без разницы, что нету у него в глазах каких-то колбочек, а потому на цвет он и не реагирует, я это опровергаю всей своей искалеченной ногой.

А дело было так. Когда я, значит, опыт с ведром ставил, а корова мне его хвостом погнула, я, конечно, лег. Минут тридцать пять полежал в густой траве и балдении, а потом малость в себя

вернулся и начал это погнутое ведро с башки свинчивать. В нем от коровьего удара вроде как резьба образовалась, и напрямую оно уже никак не слезало. А в какую сторону вертеть, чтоб себя самого отвинтить? Непонятно, вот я с этим ведром и ковыряюсь, как медведь, а в мозгах от кайфа гудит, мысли, как сметана, бултыхаются, и я сам себя до хрипа заворачиваю. То ли путаю, то ли резьбу сорвало, а только хреновое получается похмелье. Не знаю, сколько бы времени я под этим ведром балдел, как вдруг рванули его с моей головы вместе с куском кожи, и сразу посветлело в природе. Проморгался, а надо мной — наш председатель Валентин Лукьянович.

— Чего ты, говорит, Салагаев, ржавое ведро нацепил? От армии прячешься?

Ну, я ему обстоятельно стал объяснять про мужика, который пес-рыцарь, и про свой опыт, который я надеялся опровергнуть. Только это я разошелся, а он:

— А коровы твои где?

А коровы мои в рапсе. Не столько жрут, сколько топчут. Вскочил я, заорал, побегал, тоже рапсу потоптал, но — выгнал.

— Исправил, говорю, ошибку, Валентин Лукьянович.

Тут я должен сказать, что рапс этот нашему председателю навязали волевым решением, о чем он сам признался на общем собрании. Знаете, оно, конечно, перестройка, демократизация, гласность, но когда кому-то из поверхглядящих кукуруза понравится, вика с клевером или рапс — конец всякой демократии. Обязательно тебе эту монокультуру всучат, как бы ты ни брыкался. Вот нашему Валентину Лукьяновичу этот рапс и привязали к хвосту, как пустую банку собаке, и очень он с ним начал беспокоиться. Прямо аж зеленеет, когда с его навязанным рапсом какие-либо непорядки. И так мне говорит:

— А теперь, говорит, я исправлю свою ошибку и избавлю несчастную эту скотину от твоих дурацких экспериментов. Будешь числиться на временных работах, пока тебя какая-нибудь бригада к себе не пригласит. Хотя сомневаюсь, дураков в колхозе сильно убыло в связи с новой системой оплаты.

Вот как оно все обернулось. Конечно, надо бы опыт не в рабочее время ставить, это я потом понял. Или хотя бы подальше от рапса. Или от председателя Валентина Лукьяновича. Но сделанного не воротишь: сдал я свое орудие производства — это кнут, значит, — и отбыл на

скамейку запасных «куда пошлют и что велят».

На той запасной со мною еще двое профессиональных алкашей маялись, Толик и Ван Саныч. Толику было под пятьдесят, и знал он одной лишь думы власть: где бы перехватить стакашек. Можно даже неполный. Перехватив, выпивал с трепетом, чмокал и тут же погружался в небытие на ближайших восемь часов. А Ван Саныч был вдвое моложе и, приняв дозу, не спал, а куда-либо мчался. Не куда-либо вообще, а туда, где больше юбок: в правление, клуб, дискотеку, кружок вышивания или в магазин. Такая у него была потребность: повертеться. И вертелся, пока его не прогоняли.

Жуткая у меня началась полоса: ни друзей, ни плана, ни отдыха, ни зарплаты. Один день чего-то закапываем, другой — его же откапываем. В голове пусто, в душе — тоска, в животе — равнодушие. Стоишь до обеда, на лопату опершись, и понимаешь, что ты потерял вместе с коровами. Свободу ты потерял, радужность мыслей и экологию окружающей среды. То есть все, что имел, о чем мечтал и чего ничего не делал.

Словом, совсем я изнемог на этой своей должности и с этими своими сотрудниками. Никто меня никуда не берет, но все посылают. И я постепенно

постигаю, что так оно и будет всю оставшуюся жизнь, если я сам не приму мер. Мол, под лежачий камень… Все я взвесил, прикинул, просчитал и решил идти в правление и христом богом молить, чтоб меня куда-нибудь.

А в правлении Валентина Лукьяновича нет, но суеты навалом. Девчата красные, глаза горят, чего-то пишут, репетируют, разучивают.

— Чего, говорю, девоньки, за радость такая? Или разом всю нашу армию демобилизовали?

— Глупости не болтай, говорят. Ишь чего захотел, пацифист зеленый. Нет, у нас мероприятие серьезное: через неделю нашему Валентину Лукьяновичу сорок стукнет, как одна копейка! Включайся, говорят, в инициативную группу, может, он тебе твое ржавое ведро простит.

Юбилей! Сорок годков! Инициативная группа! Ну, думаю, землекоп, пробил твой час. Если не уцепишься за секундную стрелку — копать тебе канавы вкупе с Толиком и Ван Санычем до собственной могилы. Включайся, сочиняй стишата, малюй лозунги, разучивай трепака!..

Только хотел врубиться, да вовремя на девчат глянул. А они — хоть прикуривай. Хихикают да пируэты всякие — что тебе аэробика! Что тебе аэробика, когда председателю — всего сорок, ро-

веснички девчат наших все сплошь в священном долге на два года, а остальные либо женатики, либо уже лунатики вроде того, чокнутого с ведром. Нет, думаю, девоньки, мне средь вашего макового цвета что конскому щавелю: несъедобен я для председательского глаза, а скорее даже наоборот. И сообразив, я тихо подался, а меня и не заметили.

Однако сорок лет. Добреет мужик в такой день, и если к нему с умом… Стоп, а где он, ум-то? Кто у нас в колхозе этим рудиментом похвастать может? Да зоотехник Сергей Владимирович, мой дальний родственничек, больше просто некому, хоть в соседнюю область беги.

Сергей Владимирович — человек исторический. Он всю нашу историю прожил, и ни разу его никуда не заносило. Лысенко с Мичуриным хвалить? Пожалуйста, со всех трибун, прилагательных не жалея. Вейсманистов-морганистов клеймить вкупе с низкопоклонством перед растленным Западом? Сколько угодно, на всех собраниях, снова прилагательных не щадя. Америку по молоку и мясу догонять? С полным нашим удовольствием. Квадратно-гнездовым сажать? Спасибо, что надоумили. Кукурузу на завоевание Заполярья? Правильно, давно пора.

Совнархозы? Точно совершенно, как сами до этого не додумались. Не надо совнархозов? Точно совершенно, ну их… Коммунизм за двадцать лет? Навались, братцы, аккурат к Олимпиаде и откроем. Лысенко ругать? Да с радостью! Рапс организовывать, а Рапо сажать? Ах, наоборот! Простите старика, недослышал, но всегда готов. Всегда.

Вот каков был Сергей Владимирович. Всем очень нравился, и все его награждали. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневе всегда в пример ставили, как самого чуткого к прогрессу и политически активного товарища. И сейчас ставят тоже, хоть он малость что-то с чем-то путает, но человек нужный. Великий дока насчет всяких веяний. Раньше флюгера направление показывает. И не стареет при этом. Беркутом на трибуну взлетает…

— Почему у нас, товарищи, сельское хозяйство все время падает? Потому оно падает, что мы его очень часто поднимаем. Поднимем, подержим, сколько силенок хватит, в затылке почешем и обратно роняем. И так всю дорогу, весь тернистый путь. А те, которые там, на Диком Западе, те сельское свое хозяйство ни разу еще не поднимали. Оно у них до сих пор на земле стоит.

Вот какие речи он нам, трем землекопам, за свинофермой произносил. И стакан держал очень красиво. От плеча, как гусар.

— Так выпьем же за очередной подъем…

Ну, это, конечно, в узком кругу, со стаканом и без трибуны. А когда случалось наоборот, то и звучало в том же направлении:

— В свете новейших указаний нам всем стало ясно видно, дорогие товарищи, что старое название «дояр» есть полная абракадабра в век технического прогресса. Оператор машинного доения рогатого скота — вот что поднимет нас к новым высотам!..

Ну и в таком разрезе — еще минут двадцать, пока аудитория окончательно не обалдеет. Тогда замолкает, ему с радости — овацию, и он — опять на коне. Опять скачет вдоль истории и ни разу — поперек. Такой был уникальный человек. Пример селекционного отбора, как я всегда думал. Но выпить любил при всей своей селекции, а может, и благодаря ей. И тогда в благодарность давал дельные советы.

Ну, а где, спрашивается, эту самую благодарность раздобыть, если у нас год назад в Большом Порядке первый за всю историю Государства Российского трезвый сход был? И — со злости, что

ли? — постановил: пьянству — бой. И Сергей наш Владимирович тут же на трибуну спланировал.

— Надоело, — говорит, — пьянство, товарищи! Правильно и очень даже своевременно указали нам, куда может завести нас пристрастие. В пропасть, у которой и дна нет, товарищи! Вот почему я категорически предлагаю с сей минуты начать строгую трезвую жизнь. Трезвость есть норма существования белковых тел! И я горячо призываю дорогих моих односельчан сдать милиции все ненужные самогонные аппараты. Покаемся, дорогие товарищи, и пусть земля горит под нашими ногами!

Покаялись. Сдали ненужные самогонные аппараты. Нужные оставили. Акт был добровольным, все умилялись, и сдатчиков металлолома показывали по телевидению. И позакрывали все питейные точки. Сперва возникла паника, но потом все само собой образовалось. Вместо двух гласных точек появилось восемь согласных: я, например, покупал нормальную казенную кашинского разлива исключительно по согласию в промтоварном магазине в отделе уцененной резиновой обуви.

Майя Ивановна продавала резиновые сапоги всем желающим, но всовывать в них следовало

не ногу, а руку, и всяк получал то, что желал. А сапог относил к служебному входу и клал его в ящик. И сапог тот таким образом вновь шел в дело, как упаковочный материал.

Нет, не подумайте, я не употребляю. Но, во-первых, учтите, что мои коллеги без стакана натощак и лопаты нащупать не могли, а во-вторых, возникают обстоятельства. Это у них — там, на Диком Западе, — слыхал я, День благодарения один раз в году, а у нас почти что круглогодично. Тракторист участок под картошку вскопал — благодарение. Бригадир навозу подбросил — еще благодарение. А там — дрова, комбикорм, рассады да разная хозяйственная мелочишка — сплошные благодарения. Вот и бегают все к Майе Ивановне: «Майя Ивановна, кормилица, два резиновых сапога нормального размера». И — десятку за каждый, условно говоря, сапог. Ровнехонько десятку, без сдачи: плата за риск. Жить трезво стало веселее в основном продавцам, потому как остальные трезво жить давно уже разучились. Их нужно сорок лет по безводной пустыне водить, как Моисей евреев, чтобы они окончательно протрезвели, и то — сомневаюсь. И времена не те, и Моисея нету, и сорок лет, боюсь, мы уже не продержимся.

Ну, это так, отступление, чтобы было понятно,

где я в условиях свирепой борьбы за всенародную трезвость пол-литра кашинской надыбал. Пароль: «У вас продается резиновый сапог?» Отзыв: «Размер обычный?» — потому что иногда бывает двойной. Редко, правда, в цене нынче обувка. Но за ценный совет я ничего не пожалею, а потому и потопал от Майи Ивановны к Сергею Владимировичу с кашинской у самого сердца.

— Кашинская — водка нашенская! — заорал исторический человек, потер руки и засуетился насчет закуски.

А я, признаться, приуныл. В мире, вспомнил вдруг, доллары вращаются, фунты, гульдены, франки всякие. Вращаются вместе с иенами и лирами и все вокруг себя вращают. И все идет путем. Богатство и безработица, процветание и коррупция, благоденствие и преступность. Потому что есть вращение, от которого все работает. А у нас — никакого вращения. У нас коловращение, после которого единственная валюта наша вместе с бульканьем исчезает в утробах.

Пока я уныло размышлял о вращениях и коловращениях, Сергей Владимирович сотворил натюрморт. Русский, летний, конца двадцатого столетия — хлеб, соль, лук да какая-то никому не ведомая рыба в томате.

— Что за беда? — спросил Сергей Владимирович, с чувством выкушав первую стопочку.

Я излагаю, как на духу. И что в армию осенью, и что изгнан из пастырского сословия в запсостав «куда пошлют», и что сижу без доходов и ем в кредит, и что, наконец, грядет сорокалетний юбилей, то есть, по моему разумению, время максимального доступа к сердцу. Пока я все это неторопливо рассказывал, Сергей Владимирович успел еще три стопаря опрокинуть, несъедобную тварь в томате дочиста подскрести — и подобреть тоже успел.

— Жалко тебя до слез, — говорит. — Надо искать справедливость. Что больше всего уважают в сорок лет?

А черт их знает, что они, сорокалетние то есть, уважают. Может, «Жигули», может, руководящее кресло, а может, и отдых с шашлыками. Я в этом возрасте не был, опыта у меня нет, а догадки — штука опасная в моем положении. Угадаешь — слава тебе! — а если не угадаешь? Я ж, собственно, сюда и пришел, чтоб самому не гадать.

— Не знаю, — говорю. — В этом возрасте не состоял.

— Мясо, — говорит Сергей Владимирович и очень значительно поднимает палец.

Теперь-то я понял, почему он тогда о мясе заговорил. Когда в тебе четыре стопаря, так ничего важнее мяса и быть не может. В этом случае не человек управляет ферментами, а ферменты человеком. Но это я сейчас такой умный, когда к больничной койке прикован, а тогда, понятное дело, я ничего не соображал, а вбирал его мечты о жратве как откровение.

— Мясо! — повторяет он со вздохом. — Свежее, парное, желательно не пережаренное. При таком наличии не устоит. Дрогнет он.

— Ага! — говорю, хотя не вполне еще соображаю. — А где же его взять в нашем колхозе, это мясо?

— Оно мычит, — объявляет Сергей Владимирович и хлещет еще стопочку. — И будет жрать наши корма, покуда будут эти корма. А когда они кончатся, мы займемся сверхплановыми мясопоставками.

— К тому времени Валентину Лукьяновичу уж не сорок стукнет, а сорок с гаком.

— Исключительно трезвая мысль! — восторгается Сергей Владимирович и снова поднимает палец. — Но меня учили не ждать милостей от природы, а тебя учили ждать, и ты не шурупишь.

— А что я должен шурупить?

Я, честно говоря, спросил уныло, потому что перегорел. Зря, думаю, я это затеял, зря последнюю десятку прохиндею-родственничку скормил, зря время теряю. Но, как выяснилось, недоучел я его ума.

— Если мясо, которое покуда мычит и, значит, является частью природы, получает внешний дефект, я как зоотехник могу его со спокойной совестью из природы вычеркнуть. И тогда это уже не субъект инвентарного списка, а объект гастрономии.

Чего, думаю, он мне буровит? Объект, субъект, природа. Хитрит, старый черт, стажу в этом смысле у него — почти полвека. А у меня — нуль, и мне не аллегории нужны, а совет, чего мне делать, чтобы опять войти в милость. И поэтому я говорю с некоторым неудовольствием:

— Я, — говорю, — дорогой вождь и учитель, и сам с дефектом. Но как мне этим своим дефектом корову заразить?

— Только не корову! — вскричала вдруг зоотехническая совесть. — Только не корову, так как корова для нас не столько мясо, сколько молоко. А бык — тот только мясо. Исключительно гора мяса, и я ее тебе, фигурально выражаясь, дарю

ради сорокалетия нашего председателя.

— То есть как так? — спрашиваю, поскольку слегка ошалеваю от такой щедрости.

— Просто, — говорит, — как два пальца. Есть у меня бычок, которого давно пора съесть, если рассуждать научно. Самое бы время его сейчас съесть всем миром, но — запрещено, покуда имеются корма. А он жрет, паразит, за восемь коров и портит мне всю отчетность. И будет только справедливо, если мы из него сделаем бифштекс к сорокалетию.

— Так ведь нельзя же бифштекс, — говорю.

— Нельзя, покуда бычок цел и невредим. А если он сам себе чего повредит, то мы аккуратненько составим акт за тремя подписями и купим его сами у себя за наличный расчет.

— Ага, — говорю, — а как это он, интересно, сам себе что-нибудь повредит?

— А так повредит, — с презрением отвечает мне Сергей Владимирович, — так, значит, повредит, что ты возьмешь дрын и загонишь его на наше овощехранилище.

— Зачем?

— Затем, — говорит, — что на нашем овощехранилище не только что бычок — черт ногу сломит. И как только сломит, мы его тут же заактируем

как непригодного к дальнейшей жизни. Он отдельно содержится, в сарае, и замок там сроду не запирается. Возьмешь дрын, откроешь замок и погонишь того бычка спозаранку на крышу овощехранилища. Все понял? Тогда ступай. А я докушаю да спать лягу.

Сказал я «спасибо» и подался к выходу. Сергей Владимирович забулькал бутылкой и говорит мне вдогонку:

— Фугасом его зовут.

Вот тут бы мне, дураку, смикитить насчет фугаса, но я не смикитил. Не от тупости, а от радости, которая тоже есть тупость, если разобраться. А радость меня настигла потому, что уж больно простой, ну прямо гениально простой показалась мне диспозиция зоотехника и дальнего родственника. В самом деле, я гоню бычка на крышу овощехранилища, он там проваливается, я по-тихому сматываюсь, а Сергей Владимирович списывает бычка на мясо. А потом во время застолья, когда наш сорокалетний юбиляр разомлеет от парного оковалка, Сергей Владимирович ему ласково укажет на меня. И намекнет, что негоже допризывнику торчать в резерве «куды пошлют» и лентяев. И тогда ласковый председатель Валентин Лукьянович призовет меня к столу и станет

заботливо расспрашивать, в каких войсках и в каких краях я мечтаю нести армейскую службу. И уж тут все будет зависеть от меня, и дай, как говорится, мне более красноречия на тот решающий момент.

Просто, правда? Гениально, если забыть, что бычка почему-то назвали Фугасом. А я — забыл. Напрочь из башки вылетело, потому что радость — первая ступенька тупости.

Дрын я загодя заготовил. И маршрут лично три раза прошел от загона, где бычок стоял, до овощехранилища, где он должен был пасть. Все изучил, все взвесил, все предусмотрел и в ночь перед операцией спал, как младенец. И на радостях, и в предвкушении проспал самый что ни на есть спозаранок и вышел на дело с заметным опозданием.

И вот тут самое время мне признаться о наиболее существенном моем промахе. За два дня до этого по телевизору про быков передача была, и я ее очень внимательно посмотрел для собственного развития. В этой передаче участвовали Песков, Дроздов и еще пропасть разных специалистов, и все они согласно утверждали, что бык есть домашнее животное, а потому человека очень уважает еще с доисторических времен.

Как наш Толик с полстакана. И что красный цвет на него абсолютно никак не влияет, потому что бык есть полный дальтоник от природы и реагирует только на размахивания перед носом. А хитрецы тореадоры на своих корридах употребляют красный цвет не для быка, а для публики. Очень авторитетные люди выступали, и я под их воздействием в тот боевой день надел красную рубаху. Мол, если быку все равно, а рубаха легкая, то лучше бегать в ней, чем в черной, но тяжелой. И поперся на свидание с будущим бифштексом с опозданием, но зато в красной рубахе и с дрыном поперек живота. Как канатоходец.

Сергей Владимирович, дай бог ему чекушку каждый день, все объяснил точно, и я без осложнений нашел темницу, в которой томился сюрприз для председателя. Ржавый замок действительно отроду не запирался, но ворота оказались двустворчатыми, и я решил заранее, не тревожа бычка, обеспечить его выгон из привычного стойла в непривычный мир. С этой целью я прислонил дрын к стене и последовательно, одну за другой распахнул створки ворот. Мол, сейчас с дубиной зайду с тыла, огрею бычка по заду, и он рванет в ворота. А дальше, как говорится, дело техники: с коровами же я справлялся…

Это я так планировал, когда оттащил створку и начал открывать вторую. Внутри была полная тьма, створка кое-что все же весила, и я волок ее, не отвлекаясь. И уж почти доволок, когда совсем рядом ощутил горячее сопенье. И оглянулся.

Неперспективный бычок с дефектом? Возможно, я не увидел. Я увидел носорога килограммов на восемьсот, лоб — метр на ноль-пять, красные глазищи и, по-моему, пламя из ноздрей. За последнее не ручаюсь, потому что разглядывать времени не было: я с места рванул с рекордной скоростью, забыв об оружии, но зато в красной рубахе.

Царица небесная, как я летел! Я запросто побил все олимпийские и мировые рекорды на все дистанции разом, поскольку в сантиметре за моей спиной начинался лоб (метр на ноль-пять, ей-богу!) подарка к сорокалетию и жар, который вылетал из его ноздрей, жег меня, как два сопла. И одна из немногих истин, которые я пока успел проверить личным опытом, вполне согласуема с современной наукой: в человеческом организме таятся воистину непостижимые возможности.

Знаете, что такое экстремальные условия? Ну, в общих чертах все знают: заблудился в тайге, оказался посреди океана, попал в снежную лавину.

Все, конечно, так, но не конкретно. Конкретно, это когда бык за спиной. А ты бежишь на полсантиметра от его восьмисот килограммов и почему-то терзаешься не страхом, а идиотским вопросом: «Как твоя, гад, фамилия?..» И вдруг припоминаешь, что фамилия этой скотины Фугас и что при такой фамилии существует только один финиш. И я в отличие от законов спорта бегу не к финишу, а от него.

Все-таки, если честно, телевидение в нашей культурной жизни играет роль. Даже кино с ним не сравнится по силе внушения, не говоря уже о театре. Ну где, скажите, в каком спектакле мне покажут португальскую корриду в самом натуральном виде? Да нигде, ведь это вам не два притопа — три прихлопа, не калинка с малинкой, а натуральная игра со смертью для всех, кто этого пожелает.

Как это у них происходит? Откармливают, не экономя на кормах, стадо быков, привозят в город и объявляют, что, мол, завтра состоится народная радость. Время оговаривается точно, нормальные люди, старики, женщины и дети сидят в своих домах возле окон, а на улице остаются любители острых ощущений. Быков злят всю ночь, а в назначенный час распахивают ворота, и все эти их

Фугасы взрываются единовременно. И мчатся по улицам. А впереди летят португальские психи вроде меня, и все это, вместе взятое, называется древней национальной игрой. Корридой по-португальски.

Ну, это у них. Не в смысле, что у них — всегда лафа, а у нас — всегда почему-то крутом шестнадцать, а в смысле техники безопасности этого народного развлечения. Все, кто не готов драпать со скоростью, превышающей скорость разъяренной скотины, сидят дома и любуются на традицию. Бегают только те, кто знает, что будет бегать, и — главное — знает, куда ему бежать. Маршрут разработан, путь расчищен, и в сторону быкам не свернуть: либо грузовиками все перекрыто, либо заборами огорожено. И вся эта экстремальная система мчит по уготованному ей направлению, где есть всякие спасительные боковые забегаловки в прямом смысле этого слова. Это, так сказать, коррида в коридоре. А у нас коррида оказалась не в коридоре, а в Большом Порядке. Утром я проканителился, вышел с опозданием да еще с воротами навозился. И когда Фугас этот взорвался в благодарность за дарованную мной свободу, наш Большой Порядок проснулся, закопошился и начал неторопливо

перемещаться к точкам приложения сил. И на улице оказались не португальские добровольцы, а наше мирное население, по многолетней привычке еще не очень-то соображающее со сна. А тут — я. С Фугасом вместо реактивного двигателя. Что было — описать слов не хватит. Серьезно все было в такой степени, что не только что ни одной шутки не прозвучало — вообще ничего не звучало. Все драпали с озабоченными лицами, в чем сказалось принципиальное отличие темперамента жителей Большого Порядка от южной шумливости экспансивных португальцев. В экстремальных ситуациях мы молчим, как подпольщики.

А потом, честно говоря, я мало что видел. Я схватывал общее направление, чтобы мне с разбега в какой-либо тупик не залететь, и целеустремленно слушал, как этот набор мышц пыхтит за моей спиной. Остальное фиксировал боковым зрением и боковым слухом, то есть урывками. Но поскольку я по Большому Порядку промчался ровнехонько четыре полных круга, то урывков накопилось достаточно.

Ну, о главном удивлении я потом расскажу, когда, так сказать, до него добегу. А сперва, помню, передо мною минут семь наш главный бухгалтер

бежал. Петр Семенович Воропайко. Полный, даже я бы сказал, рыхлый был мужчина, на сердце и на жену все время жаловался. Кто-то из них его жал, а кто-то — колол, но кто — что, я уже не помню. Да это и не существенно, потому что после того дня Петр Семенович похудел на восемь триста и больше ни на что уже не жалуется. Только радуется, что ноги унес.

А вот на втором круге в забег сам председатель Валентин Лукьянович включился. Как его под наш с Фугасом тандем поднесло, этого я сказать не могу, но два круга мы с ним сделали, как братья Знаменские. Он с кейсом бежал, и я ему крикнул, чтоб он этот свой кейс бросил к чертовой матери. Но он вместо этого ко мне повернулся и спросил в три приема: «Ты почему… канаву у конторы… не зарыл?..» Я эту свою промашку ему объяснять не стал, но во спасение его все время орал, чтобы он свернул, что ли, а я быка за собой уведу. Но он, не сворачивая, поинтересовался вдруг: «Тебе… когда… в армию?..» — «В ноябре!..» — кричу. «Жалко, — говорит. — Еще квартал мучиться…»

Ну, тут его как-то отнесло, о плетень садануло, и мы с быком промчались мимо. И он, заметьте, меня в больнице ни разу не навестил, из чего я делаю вывод, что то был не плетень, а бетонный

забор, которым огорожен наш детский комплекс.

Дальше у меня — цветные пятна вместо конкретных воспоминаний. Так думаю, что доконал бык мое первое дыхание и некоторое время я лидировал без всяких вдохов и выдохов, пока не допер до второго дыхания. Открывалось оно во мне не сразу, и у меня на этот период не воспоминания, а видения. Какие-то очень серьезные девчата с лицами неприступными и целеустремленными. Знакомый завклубом с аккордеоном, два механизатора, библиотекарша Раиса Михайловна, кто-то еще… Все это возникало и пропадало, а я покуда еще существовал.

Но долго лидировать мне бы все равно не удалось: разные у меня с быком весовые категории. И если бы не луч света, то встретились бы мы с вами через неопределенное время, но во вполне определенном месте. Ведь если все спокойно проанализировать и разложить по полочкам, то выяснится четкая картина: Фугас бежал исключительно за мной. Он напрочь игнорировал суету вокруг нашего забега, никого не желал замечать и держался точнехонько за моей спиной, хотя я ничего ему не успел еще сделать дурного. Наоборот, я лично выпустил его на свободу, но он об этом сразу же забыл и шпарил согласно своей

собственной идее фикс. Почему, спросите? Да потому, что в тот день я оказался единственным жителем Большого Порядка в красной рубахе. Хорошенький такой.

На четвертом круге я малость прозрел, поскольку открылся во мне вентиль второго дыхания. И воля моя здесь, честно говоря, совершенно ни при чем. Я напрочь растерял все человеческое и только держал дистанцию. И так думаю, что эта метаморфоза и спасла меня на четвертом этапе забега.

Но силы таяли, это я отчетливо соображал. То есть не это я соображал: я соображал, что мне полная хана, а силы исчезали без всякого осознания с моей стороны. Я понимал, что пятого круга мне ни за что не выиграть, потому что третьего дыхания нам не дано, и что паду я под рога и копыта весом в восемь центнеров. И так я все четко себе представил, что даже не паниковал. Сил у меня на панику уже не хватало, и собственную кончину я воспринимал как конец забега. Только и всего, хотите верьте, хотите нет. Кроток я стал, терпелив и покорен, потому что за мною не бык мчался, а рок, и при выходе на четвертый круг я это осознал всем существом. И даже подумывать стал, а не пасть ли мне добровольно? Все равно

спасения нет, так чего зря мучиться?

К счастью, эта паническая идея не успела мною овладеть. По той простой причине, что я среди остатков цветных вкраплений ясно разглядел, что на данном отрезке впереди меня драпает сам Сергей Владимирович. И тут вдруг меня осенило: овощехранилище! Овощехранилище, где сам черт ногу сломит! Ведь я должен был по диспозиции загнать туда этого бешеного Фугаса, чтобы он там… А я вместо этого, как последний псих, бегаю кругами по центральной усадьбе! Так уж коли не удалось мне быка загнать на овощехранилище с хвоста, то я наведу его туда с морды. Как ведущий ведомого!

Пронеслось это в моей голове во мгновение, но я все успел сообразить. Все, весь путь к спасению. И круто свернул прямиком к заветной крыше, которая начиналась прямо от земли, как шатер. Сделал я этот маневр для быка неожиданно: Фугас по инерции проскочил поворот. Но тут же развернулся и опять за мною ринулся, хотя на этом я кое-какое расстояние все же выиграл.

Вот эти полтора метра и позволили мне взлететь на крышу овощехранилища — крутизна все-таки. Взбежал я наверх, подивился, почему это за спиной никто не проваливается и никто

не сопит, обнаглел и оглянулся. И последнее, что я четко увидел, так то я увидел, что Фугас стоит перед крышей, как вкопанный, и на меня смотрит из-под своего лбища метр на ноль-пять плюс рога по бокам.

— Ага, скотина! — заорал я. — Сдрейфил?.. Шкуру свою бычиную спасаешь?..

И тут подо мною вдруг все затрещало, и я полетел вниз… Не знаю, сломит ли черт ногу в нашем овощехранилище, но я сломал. В двух местах, почему и лежу вместе с вами в этой палате.

Вчера, если помните, меня Сергей Владимирович навещал. Фруктов принес и новость: наш председатель Валентин Лукьянович после этого забега Фугаса за валюту продал. В Португалию, что ли. Вот уж где португальцы побегают…

1988

«Холодно, холодно...»

Издалека донесся глухой натужный стон. Он рос, выравнивался, наполнялся мощью, постепенно перерождаясь в строгий, выверенный рев сотен лошадиных сил. Тяжко задрожала земля, с придорожных елей посыпались иглы, смолкли птицы и звери, и из тумана показалась машина. Она не рвалась вперед, пожирая километры, не вздыхала, похрустывая от перегрузки, — она надвигалась солидно и неотвратимо, точно была явлением стихии, а не результатом человеческого труда. Тупое широкое рыло равнодушно взирало на мир зарешеченными глазницами фар, кабина напоминала кафе, а за нею вырисовывалось огромное сооружение без окон и продухов, выкрашенное сверкающей серебристой краской.

Это был всего-навсего гигантский холодильник, а как-то не верилось, что такое чудовище может быть предназначено для мирной перевозки продуктов. Скорее можно было предположить, что это передвижная бойня, что в него не грузят замороженные туши, а сами туши, еще живые, теплые, еще умеющие страдать и бояться смерти,

покорно идут в оцинкованное нутро, едва переступая дрожащими от ужаса ногами…

Рефрижератор показался из плотного мокрого тумана хмурым октябрьским вечером на пустынном шоссе. Машина двигалась неспешно, держась ближе к осевой линии, но сразу притерлась к правой обочине, как только одинокий пешеход неуверенно поднял руку. Это был солдат-первогодок в выгоревшем за лето мятом мундире. На обветренном лице кое-где и кое-как рос белый пушок, светлые глаза смотрели сквозь толстые очки с юношеской готовностью.

— Защитникам отечества! — весело приветствовал солдата шофер. — Далеко собрался?

— До Михеева не подвезете?

— Садись.

Солдат живо взобрался на высокую подножку. Глянул на водителя, улыбнулся виновато:

— Знаете, у меня денег нет.

— Обижаешь. — Хлопнула дверца, заурчал, наращивая обороты, мотор. — Я так считаю, что дорога вообще должна быть бесплатной. А я еще и по соседу стосковался: напарника моего аппендицит прихватил. Ну, сняли с рейса в больницу, вот шесть сотен кэмэ один и пилю. С непривычки петь начал, чтоб не заснуть. Напарник у меня

— мировой мужик, мы с ним на этом крокодиле, считай, пол-Европы изъездили. А знаешь, где человека легче всего проверить? За кордоном, усек? Ежели он дерьмо, так там сразу себя проявит. Жлобиться станет, пенензы считать, на спичках экономить — я таких не люблю. Надо все в меру, так, что ли? И напарник мой в этом плане в полном порядке. А в рейсе, я тебе прямо скажу, хорошо, когда справа от тебя стоящий мужик сидит: мало ли что может случиться. Усек, солдат?

— Да, да, конечно. Вы правы.

Шофер был приветлив и добродушно словоохотлив; солдат поддакивал, но слушал вполуха. Он осторожно, искоса, но очень внимательно разглядывал водителя, и водитель нравился ему: сильный, уверенный в себе бывалый человек с кажущейся небрежностью вел тяжелую машину, и она покорно подчинялась каждому его движению. Юноша умилялся сноровке мастера, не подозревая, что сам он вызвал в мастере как раз обратные чувства. Шоферу не понравилось в солдате все: и толстые стекла очков, и беспомощные близорукие глаза, и мятый мундир, и сутуловатая, совсем не военная фигура. «Защитничек, — презрительно отметил он про себя. — Маменькин сынок, сразу видать». Но спросил вполне благо-

желательно:

— Мама, поди, тоже в очках?

— В очках, — почему-то обрадовался солдат. — Она библиотекой заведует.

— А папа?

— Не знаю, — суховато сказал пассажир. — Он бросил нас. Давно, я его не помню.

— Да, поездил я по Европам, поездил, — начал вдруг шофер, неуклюже пытаясь сгладить возникшую неловкость. — Сперва-то я на маршруте Варшава — Москва работал, а сейчас на длинный, на Афины — Стокгольм перешел. Маршрут правильный: дороги отличные — раз, стран побольше — два. У меня в Афинах приятель, в Стокгольме приятель: нормально живут, добротно. Я им сувенирчик, они мне сувенирчик. Юрген и Христо. Хорошие ребята, с пониманием, сами шофера-дальнерейсовики: сутки дома, семь — в пути. Да. Пятый год на сухомятке, а брюхо еще держится. У всех моих корешей язвы — ну, вповалку! — а у меня — тьфу, тьфу! У меня докторишко знакомый, точнее даже — родственник. Ну, родня родней, а сувенирчик сувенирчиком, точно? Все-таки загранрейсы — это возможности. Вот он меня и научил: первое, говорит, режим, второе — термос. Да не с чаем, там, не с кофеем:

с бульончиком, усек? И я в полном порядке, и он в полном порядке: сигареты «Кент» не переводятся. Да, режим — это главное дело… Во, как раз наше время. Ты как, солдат, насчет перекусона? Солдат спит — служба идет, солдат ест — служба бежит, так, что ли?

— Спасибо, я сыт.

— Ладно, помалкивай, дорога дружбой держится. А с солдатом куском не поделиться — это, брат, не по-нашенски, не по-рабочему.

Говоря без умолку, шофер плавно причалил к обочине. Вылез, обошел машину, привычно пнул ногой в скаты, проверил пломбы на воротах холодильной камеры. Солдат терпеливо ждал в кабине.

— У меня тоже вроде как служба, — сказал водитель, взбираясь на место. — Я ведь не только рулила, я еще и охранник. Немного, правда, в этот рейс мяса, но и за ним надо приглядывать, верно, солдат?

Солдат издал нечто среднее между смешком и покашливанием. Он был застенчив, предпочитал помалкивать и всегда соглашался.

— Сейчас свет включим, терпеть не могу в темноте жевать. Вроде как сам от себя тайком.

Зажглась лампочка, и случайные попутчики

смогли впервые как следует рассмотреть друг друга. Солдат оказался совсем неказистым: худым, длинношеим, узкоплечим и чересчур уж тихим. А добродушно-болтливый шофер выглядел довольным жизнью здоровяком, любившим, вероятно, вкусно поесть, сладко поспать и уютно поковыряться в какой-нибудь несложной домашней технике. И если в солдате чувствовалось неумение быстро завязывать знакомства, то водитель, наоборот, был чрезвычайно общителен. Они были противоположностью, но противоположностью, не дополняющей друг друга, а как бы вычитающей что-то. И поэтому разговор не вязался, несмотря на общую трапезу.

— Ешь, ешь, нажимай, — скорее уже по привычке угощал водитель. — Солдату всегда жрать охота, по себе помню.

— Мне, знаете, хватает в армии.

— Хватает? — Шофер покосился. — В институт, что ли, срезался?

— Я вообще не сдавал.

— Что ж так? Хлипкий ты для рабочего человека. Тебе в интеллигенцию надо.

— Я в Суриковское хочу, — нехотя признался солдат.

— Кого же из него выпускают?

— Там живописи учат. И ваянию.

— Живописи… — разочарованно повторил водитель. — А что же не сдавал, если живописи хочешь?

— Как вам сказать? — Солдат помолчал. — Чтобы творить, надо многое знать. Не из книжек, а из жизни. Я, например, Попкова люблю: вот он знал, что писал.

— Кто такой?

— Виктор Попков. Художник.

— Художник, — протянул шофер. — От слова «худо», так, что ли? Да ты пей кофе, пей.

— Спасибо, не хочется. Вы как-то нехорошо сказали про Попкова. А он серьезный художник, большой. И нет его уже, погиб.

— Да пустое это все, — проворчал шофер, убирая еду. — Художники, живописи. Сейчас техника все решает. Я, например, слайды уважаю, а пленку — нормальный «Кодак», заметь, — за кордоном беру. Кто — шмутье, а я — пленку. Классная пленочка! Выбрал видок, щелкнул — ну и какая живопись сравняется? Видел я этих художников: сидят целый день, срисовывают, срисовывают, а я щелк — и пожалуйста.

— Вы не правы. — Солдат сердито поправил очки и начал краснеть. — Вы совершенно, абсо-

лютно не правы сейчас, извините.

— Что-то больно ты вежливый: извиняюсь да извиняюсь. Ты с рабочим человеком говоришь, нечего вежливостью пугать. Крой правду-матку: она и есть самая вежливая.

— Извините, я так не умею, но относительно вашей идеи заменить живопись слайдами все же скажу. Это очень наивное мнение, что художник пишет натуру, как она есть. Это как раз слайды копируют природу, а живопись никогда копированием не занималась и…

— Ладно, живопись — это к примеру, не заводись. Искусство служит народу, слыхал? Я с работы прихожу, так ты мне отдохнуть дай, отвлеки, юморок там, Леонова или Райкина. А то мы вкалываем, как звери, а артисты эти для себя всякие трагедии в постановках разыгрывают. Знаешь, как это называется? Это называется искусство для искусства, усек?

— Извините, искусство для искусства — это же совсем иное. Это…

— Ну, будет, будет тебе баллон на меня катить, — решительно перебил шофер. — Я ведь просто так сказал, со своей точки.

Разговор вел к взаимному охлаждению, а впереди ждала дорога, и старший первым забил

отбой:

— Лучше расскажи, из-за кого в самоволку сорвался.

Солдат, строго нахмуренный, уже изготовившийся для спора, заулыбался всем лицом, как улыбаются в любви и в детстве.

— А как вы угадали, что я в самоволке?

— А я, брат, Штирлиц, — засмеялся шофер. — Мундирчик на тебе хреноватый, в таком через капепе не выпустят. Так или не так?

— В общем, так. Знаете, удивительное сочетание обстоятельств: штаб считает, что я — в роте, а рота — что я в штабе лозунги к Октябрьским пишу. Раньше двух дней ни за что не хватятся, а я за это время Наташку повидаю и назад.

— Вот, значит, из-за кого солдаты через забор сигают, — усмехнулся водитель. — «Вы служите, мы вас подождем», так, что ли?

— Ну, как сказать, — засмущался солдат. — В общем, в школе учились вместе. Она способная девчонка, в медицинский с ходу поступила, а их курс как раз в Михнево на картошку послали. То-то удивится!

— Точно! — Водитель вздохнул. — У меня тоже Наташка. Дочка. В прошлом году школу кончила, да так без дела и болтается. Дурная молодежь

пошла.

— Извините, а зачем же вы обобщаете? Молодежь разная.

— Разная? — Шофер покрутил головой. — Один кричит: неси, неси! Второй: вези, вези! Вот и вся разница. Я за кордоном воды стакан выпить не решаюсь, а ей все мало.

— Кому — ей? Молодежи?

— Ладно, кончили! — жестко отрубил шофер. — Все вы хороши, когда вам тряпки понадобятся. Взревел мотор, машина плавно отвалила от обочины, расстилая в густевшем тумане шлейф черного дыма. Она шла легко, играючи, подрагивая от избытка клокочущих в ней сил. А люди недружелюбно молчали, уже жалея, что судьба свела их на этой дороге.

— Хороший автомобиль, — неуверенно похвалил солдат только для того, чтобы хоть что-то сказать.

— Да, класс, — без особого энтузиазма отозвался шофер. И опять нависло молчание. Уютно урчал мотор, чуть покачивались сиденья, веяло расслабляющим теплом.

— А вы часто за границей бываете?

Солдату было не очень интересно, часто ли бывает шофер за границей: просто он испытывал

большое неудобство от молчания и считал себя виноватым. И неожиданно вопрос его попал в точку: водитель довольно заулыбался, вновь благосклонно поглядев на пассажира.

— По графику положено два раза в месяц. Ну, я подсчитал, прикинул возможности и предложил встречный план за счет увеличения средней скорости и сокращения стоянок. Приняли, назвали почином, и теперь за кордоном я уже три раза в месяц буду бывать. Вот так, усек? Не покумекаешь — не подработаешь.

— Вы не шутите? — Солдат недоверчиво посмотрел на него. — Знаете, я первый раз живого инициатора вижу, не обижайтесь, пожалуйста. Вы, можно сказать, тот самый положительный герой, которого я изучать должен, если хочу всерьез живописью заняться. А я хочу, потому что это не детское увлечение, а мечта всей жизни.

Юная горячность пассажира понравилась водителю. Он был человеком отходчивым и с готовностью откликнулся:

— Изучай, дело хорошее. Я тебе так скажу, что дураков много кругом. Болтают: за границей, мол, заработок. Ну, заработок — это точно, только за этот заработок там такую работенку требуют, что и лоб не утрешь. А наши крикуны о чем мечта-

ют? О том, чтоб работать как при социализме, а получать как при капитализме. Нет, милый друг, хочешь хорошо получать — хорошо и повкалывай, так, что ли?

— Абсолютно с вами согласен! — с комсомольской готовностью подтвердил солдат.

— Раньше-то и я дураком был: искал, как бы словчить, — с удовольствием продолжал шофер. — А потом понял: самое выгодное — это нормально работать. Ну, сперва, конечно, пришлось повкалывать, поработать на авторитет: перевыполнял, соревновался, на собраниях не отмалчивался, как некоторые, по общественной линии тоже. Трудный был период, ничего не скажу, зато теперь полный порядочек. Теперь авторитет на меня работает, усек?

Говорил он с таким самодовольством, что солдату стало не по себе. Наивный энтузиазм его таял с каждой фразой собеседника, но юноша из деликатности изо всех сил улыбался.

— Да, конечно, конечно.

— И все нормально. Кому премия? Кому квартиру без очереди? Между прочим, на троих трехкомнатную дали, представляешь? Кому путевку на курорт, когда захочу? Обратно мне. И рейсы, заметь, я сам выбираю, и почин этот

опять же. И им выгодно, и мне выгодно: на этом почине я полтора оклада буду иметь и, главное, дополнительную валюту, усек? В какой заграницe ты такие блага получишь? Да ни в какой, ответственно тебе говорю. А что от меня требуется? Нормально работать да мораль соблюдать. Ну, там, не опаздывать, не халтурить, не пить, с женой, к примеру, чтоб все путем. Я все соблюдаю, и я главней директора: тот место боится потерять, а я ни хрена не боюсь. Я — представитель рабочего класса, усек? Вот кем надо быть — представителем.

— Трудно, наверно.

— Да чего там! Конечно, сорваться боязно: среди представителей тоже, знаешь, конкурс. Как чуть оступился, так сразу шансы получишь навылет просквозить. Народ злой стал, завистливый…

И опять между ними точно кошка мелькнула: солдат замкнулся, насупился, даже голову в плечи втянул. Его угнетали развязные откровения шофера: он считал его очень глупым, втайне удивляясь, как такого терпят на работе. А между тем водитель был далеко не глуп; он прошел превосходную школу и точно знал, с кем надо помолчать, кому — поддакнуть, а кого и анекдотом развеселить. Перед случайным попутчиком,

который через полчаса сойдет с машины, не имело смысла играть. А вот похвастать перед ним умением жить, преподать, так сказать, урок хотелось, ибо его собственная дочь подобных уроков не выносила и тут же кричала: «Заткнись!» И в этом разговоре водитель брал реванш и за отбившуюся от рук дочь, и за пренебрежение коллег, и за всю очкастую, хилую, никчемную интеллигенцию, которая куда чаще ставила трагедии для себя, чем комедии для него.

Однако даже сейчас, туманным октябрьским вечером, в разговоре со случайным попутчиком на пустынном шоссе шофер осторожничал. Роль, избранная им, — роль энтузиаста-передовика, целиком и полностью разделяющего мнение начальства еще до того, как начальство само сформулирует это мнение, — требовала высшей дипломатии, иезуитского притворства и крысиной приспособляемости. Он давно уже выдрессировал самого себя, привыкнув не только слышать каждое свое слово, но и по-звериному чуять, как это слово воспринимает собеседник. И поэтому, чутко ощущая растущее неприятие солдата и получая от самоутверждения сладчайшее удовлетворение, не зарывался.

— Вообще-то я, конечно, сгущаю, усек? Коллек-

тив у нас здоровый, как говорится. Вон по спорту все призы взяли, я сам золотой значок имею. Ты спортом-то увлекаешься?

— Не очень, знаете, — нехотя признался солдат. — Правда, если международная встреча, то я смотрю.

— Болеешь, значит?

— Болею. За наших.

— А я — за «Спартачок». Но и сам занимаюсь. Спорт, он очень полезный и в смысле здоровья, и для самообороны. Лет десять назад случай был. Иду я вечером с работы и — трое под банкой. Дай закурить, то да се, ну, и накидали мне полное рыло. Думаешь, защитил кто? Какое! Вот с той поры я и понял, что за меня только один человек может вступиться: я сам. Самбо изучил, штангу регулярно толкаю, зарядка каждый день. И — в форме: кто ко мне сейчас сунется и кто мне мои сорок семь даст? Не курю, выпиваю только по праздничкам, режимчик и — нормальный вид. Так что зря ты этим пренебрегаешь. Поверь, зря.

— Возможно. — Солдат пожал плечами. — Мама говорит, что сейчас все о теле заботятся, а о душе забыли. А прежде о душе больше думали.

— Чего?.. — Шофер с искренним изумлением уставился на пассажира. — Да ты никак сектант,

что ли? Что ты мелешь, какая душа…

Машина не ощутила сопротивления, не вздрогнув, не звякнув; солдат ничего не расслышал, и только водитель опытным ухом и чуть дернувшимся рулем уловил неладное. И сразу нажал на тормоз.

Вылез, хлопнув дверцей. Ровно урчал на холостых оборотах мотор. Солдат выглянул, но на пустынной, затянутой туманом дороге никого не было. Спрыгнул на асфальт, поеживаясь от пронзительной сырости.

— Где вы? Что-нибудь случилось?

Никто не отозвался, и звуков никаких не слышалось, только работал двигатель да по козырьку фуражки щелкали редкие и тяжелые дождевые капли. Солдат постоял, послушал и пошел вдоль огромного серебристого чрева рефрижератора. Обогнул его и в нескольких шагах на шоссе увидел размытую туманом фигуру.

— Вот вы где! Я уж думал…

И замолчал: на мокром асфальте у ног водителя неподвижно лежала девушка в светлом плаще. Рядом ручкой вверх валялся пестрый складной зонтик, чуть раскачиваясь то ли от ветра, то ли еще по инерции.

— Что с ней?

— Что?.. — испуганно переспросил шофер. — Я не видел ее, не видел. Туман, ни хрена не видно. Я на тебя глядел, подонок ты, сволота, гад…

— Она… Она дышит. — Солдат стал на колени рядом с девушкой, не решаясь прикоснуться. — Она жива, она без сознания просто! — Он вскочил в крайнем возбуждении, в стремлении что-то делать, куда-то бежать, звать на помощь. — Ее надо в больницу. Немедленно в больницу, слышите?

— В больницу? — Водитель все еще находился в растерянности. — Да, да, в больницу. А никого нет. Нет ведь никого.

— Так сами же и отвезем! — Солдат суетился, бегал вокруг девушки, дергал шофера за куртку. — Сами, сами отвезем, понимаете?

— Да. Сами. Сами отвезем, — бормотал шофер. — В машину. В машину ее. Берись.

Они подняли девушку, неуклюже семеня и толкая друг друга, понесли к рефрижератору. У тупого, вагонного зада водитель остановился.

— Клади. Клади, говорю!

Растерянность его прошла, как только появилось действие. И действовал он быстро, точно зная, что должен делать. Они опустили девушку на дорогу, шофер сорвал пломбы, распахнул тяжелые ворота холодильной камеры. Внутри

вспыхнула лампочка, нестерпимо ярко отразившись в ослепительно белых стенах.

— Бери. За ноги ее, ну!

— Зачем?.. — со страхом спросил солдат, увидев мороженые туши и ощутив ледяной выдох холодильника. — Сюда нельзя, нельзя! Надо к вам в кабину, там диван, я видел…

— Дурак. Дурак ты. — Водитель зачем-то схватил его за мундир, затряс. — Она же помрет в кабине! Кровью изойдет, усек? А здесь прохлада, врачи всегда травмы замораживают, видел по телевизору? Бери, ну? Бери же.

Они опять подняли девушку, положили на розовые стылые глыбы мяса. В ярком свете солдат видел ее мертвенно-белое лицо, залитое кровью платье, рассыпавшиеся волосы.

— Нельзя ей здесь, — приглушенным шепотом сказал он, и в голосе его послышалось готовое взорваться отчаяние. — Это мертвых замораживают, а не живых. Мертвых!

— А мы не виноваты, не виноваты! — вдруг истерически закричал шофер. — Это она во всем виновата, она! — Он бил машину кулаками, пинал, плевал на нее: — Сволочь! Гадина! Падла!..

Потом угомонился. Стоял, упершись лбом в мокрую стену холодильника, громко всхлипы-

вал, вздрагивая всем телом.

— Ехать надо, — сказал солдат. — Ну, что вы? Ну, будет вам, будет. Надо ее спасать. Спасать, слышите?

Водитель глубоко вздохнул, вытер ладонями лицо. Посмотрел на неподвижную девушку, старательно оправил сбившуюся на коленях юбку.

— Садись.

Захлопнул дверь камеры, задвинул засовы, сгорбившись, прошел на место. Не глядя на солдата, включил передачу.

— Тут больница должна быть. Недалеко тут.

Он разгонял машину, не щадя двигателя, точно бежал с того места, где тупое рыло рефрижератора зацепило ненароком идущую по шоссе девушку. Видно, пожалела туфельки, не захотела месить грязь на обочине. А тут туман и дождь в лицо, и зонт, которым загораживалась она от дождя и из-за которого не видела дороги. Только ведь не объяснишь же все это суду, ничего не расскажешь и ничего не докажешь. Одно мгновение, миг один, и не вернуть его, не переиграть, не исправить. Господи, почему же тебя нету? Не знаю, что бы отдал, только бы не было этого беспомощного тела на пустынном шоссе. Полжизни отдал бы. Полжизни…

Ехали молча, уставившись в прорезанную лучами фар призрачную мглу за ветровым стеклом. Выл, захлебываясь, мотор, машину било на невидимых ухабах, и при каждом толчке солдат судорожно жмурился, ясно представляя, как подпрыгивает на каменных заледенелых тушах беспомощное девичье тело. Но от того, что он жмурился, видения не исчезали, а шофер гнал и гнал, и все ревело сейчас в кабине. «Надо сказать, что нельзя ей там, — лихорадочно думал солдат. — Надо остановить, потребовать...» И ничего не говорил, не требовал, а лишь изо всех сил зажмуривал глаза...

— Я сойду! — не выдержав, крикнул он неожиданно для самого себя. — Остановите. Остановите.

— Тебе в Михнево, — не глядя, буркнул шофер. — Рано еще. Сиди.

— А ее куда? Куда? Там же холодно. Холодно там, понимаете?

— В поликлинику, — тупо бормотал водитель. — В поликлинике тепло, врачи. Скоро должен быть, я знаю. Травмопункт.

Солдат заплакал. Он плакал по-детски, сняв запотевшие очки и ладонями размазывая слезы. Плакал от ужаса, от не оставляющего его видения

нежного тела на мороженом мясе, от беспомощности и жалости. И за слезами не заметил, как стих мотор и остановилась машина.

— Ну, чего ты, чего? — Водитель потряс его за плечи. — Утрись-ка. Страшно? Ну, тогда иди. Иди. Я сам ее сдам. Один. Иди.

Солдат глубоко вздохнул, достал платок, долго сморкался, шепча что-то. Водитель сидел молча, уронив голову на скрещенные на руле руки.

— Холодно ей там. Холодно.

— Иди. — Шофер поднял голову, уставив на солдата странно отрешенный взгляд. — Иди, говорю.

— Да, да. — Солдат суетливо запихивал в карман платок. — Я пойду. Я сейчас.

Он вылезал боком, нащупывая рукой выход и не решаясь оторвать глаз от тяжелого, оплывшего лица водителя. Выбравшись на шоссе, не захлопнул дверцы, а начал пятиться от машины, беспрестанно повторяя:

— Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания. — Вдруг повернулся и побежал, не оглядываясь, втянув голову в узкие плечи. И сразу же закричал. Закричал еще до того, как шофер выпрыгнул из кабины.

Так они и бежали по шоссе, оставив позади

приглушенно пофыркивающую машину с девушкой за двойными стенами холодильной камеры. Солдат кричал непрерывно, кричал не слова, а сам крик: «А-а-а!..» Кричал в смертельной тоске, уже ничего не соображая. А шофер бежал молча, и, заслышав его грузный топот за спиной, солдат сам упал на обочину.

— Зачем же ты побежал, дурачок? Зачем? Ах, дурачок, дурачок...

Шофер взял солдата за плечи, проволок по грязи и рывком сбросил в переполненный водой кювет. Солдат попытался встать, забился, и они оба оказались в воде. Но водитель был посильнее и потяжелее: пригнул солдата, запихал под воду, навалился. Обождал, когда с бульканьем выйдет воздух, когда окончательно перестанет содрогаться тело, и выбрался на шоссе.

— Ты зачем побежал? — задыхаясь, бормотал он. — Ты настучать на меня побежал? Ах ты, дурачок!

Дурачок-солдат лежал на дне кювета, настолько мелкого, что из воды торчал обтянутый потертыми брюками худой мальчишеский зад, а носки сапог упирались в обочину. Беспрестанно бормоча, водитель снял башмаки, вылил из них воду, кое-как отжал мокрые штанины.

— Сейчас подружку тебе рядом положу. Под бочок, чтоб не скучно.

Носком столкнул в воду отлетевшую фуражку, тяжело шаркая мокрыми ботинками, пошел к машине. Постоял у кормы, осмотрелся, прислушался и распахнул двустворчатые ворота.

И обмер: на мороженых тушах сидела девушка, судорожно кутаясь в перепачканный плащ. Синие губы ее мелко дрожали.

— Х-холодно, — с трудом выговорила она. — Холодно, холодно, холодно.

Шофер с грохотом захлопнул створки ворот. Придавил всем телом, точно ожидая, что изнутри вот-вот начнут ломиться.

— Ы-ых!..

Никто не ломился в тяжелые ворота, и в холодильнике было глухо, как в склепе. Шофер обождал немного, торопливо, сбивая в кровь руки, вогнал штыри в пазы затворов, тяжко, со стоном выдохнул. Постоял, долго и настороженно вслушиваясь в туман. Пустынно и тихо было на дороге.

Шофер еще раз осмотрел запоры, медленно побрел вдоль кювета. Остановился возле мертвого солдата, долго тупо смотрел на него. Потом громко икнул и прошел на свое место. Хлопнула

дверца.

Взревел мотор, и огромная серебристая машина, набирая скорость, скрылась в густых октябрьских сумерках. И только рев сотен лошадиных сил долго еще доносился из тумана, все слабея, переходя в стон и наконец замолкнув навсегда.

1984

Живая очередь

С зимнего солнцеворота прибавилось три минуты дню, но светлее не стало. Зима выдалась особо сырой и тягостной. Густые липкие туманы сползали в город каждое утро, волоча за собой хмарь и копоть всех окрестных предприятий, по улицам клубилось нечто зыбкое, промозглое и угольно-горькое на вкус. Старожилы не помнили такой погоды.

— Климат-то как изменился.

— Это после Чернобыля. Точно говорю.

Да, сорок лет назад в этом самом городе был совсем иной климат.

— Помнишь, Лидочка?

— Помню, Ванечка. Все я помню, дорогой.

Лидия Петровна и Иван Степанович Костыревы поженились, отвоевав и отлежавшись в госпиталях в среднем столько, сколько выпало на долю всем уцелевшим фронтовикам. И случилось это ровно четыре десятилетия назад, и праздновали они свою свадьбу в ночь под Новый, 1948 год в общежитии технологического института, где и познакомились. И на всю студенческую ораву,

голодную и веселую, пришлось пять бутылок кагора «Араплы», шампанское, два торта и гора винегрета.

— Какой же праздник у нас счастливый был, Ванечка.

— И картошку в мундире ребята с третьего курса прислали. Совсем незнакомые ребята. До чего же вкусная картошка была! До чего вкусная…

Вздыхал Иван Степанович и грустно улыбался. Не потому, что закончить институт не довелось ни ему, ни жене: пошли дети, а родных война прибрала. И даже не потому, что годы их пролетели, дети разъехались, а сами они доживали век пенсионерами при младшей дочери. Нет, иная тут имелась причина, которую Иван Степанович и не смог бы высказать, если бы кто-нибудь его спросил. Ну, конечно, если бы, допустим, местное телевидение, тогда, возможно, Костырев бы рискнул. Тогда бы он сказал для голубого экрана примерно так:

— Жалко что? Года? Чего же жалеть, природа это. Жалко, что вам, молодые вы мои друзья, никто котелка картошки вареной не подарит в день свадьбы. Последней своей картошечки, от собственного живота оторванной ради чужого счастья. Вот чего мне очень даже жалко.

Но никто Ивана Степановича ни о чем не спрашивал, никто им не интересовался. Ни им, ни родной его Лидией Петровной, у которой как раз под этот Новый год исполнялось ровно сорок лет счастливой семейной жизни. Старику Костыреву, естественно, то же исполнялось, но женщины такие даты куда больше ценят. Но туманному городу не было до их дат никакого дела: город слухи тревожили.

— Еще три точки закроют…

— После Нового года?

— Нет, до. Отчитаться им в нашей трезвости надо. Так что с наступающим вас, как говорится…

Иван Степанович эти слухи игнорировал. Во-первых, он привык все приветствовать, а во-вторых, к выпивке относился с полным равнодушием. Детей у него было трое, а потому даже дешевое вино было всегда не то чтобы не по карману — в обрез. И Костыревы на это денег не тратили. По возможности, конечно, потому что все мы живем «по возможности» и навсегда приучены жить так.

А слухи катились, как утренний туман.

— По одной будут давать.

— Водки?

— По одной бутылке, понял? Водки, бормотухи,

шампанского — чего тебе выйдет. Хоть сгори, хоть утопись — такое распоряжение к наступающему.

— Но почему? Почему? Самоуправство какое-то!

— Область обязательства по трезвости желает перевыполнить. Чтоб, значит, нос утереть всему Союзу.

Младшая дочь Татьяна, с которой жили старики, имела семилетнего сына, скромные алименты и профессию учительницы начальных классов. Жили, в общем, дружно, хотя Татьяна порой и выдавала от всей застоявшейся невезучести. Старики ее понимали, жалели, любили больше других и потихоньку баловали внука. И все катилось, как и положено катиться, к известной станции назначения, до которой никто не знает, сколько ему еще осталось. Дни бежали, декабрь завалился на последнюю декаду, и в городе уже привычно слышалось:

— С наступающим!..

Уже открылись новогодние базары, уже Татьяна репетировала праздничный концерт со своими второклашками, и на балконе хранилась елка, когда, проснувшись однажды ночью, Иван Степанович увидел, что его Лидочка смотрит в потолок.

— Свадьба мне наша приснилась, Ванечка. И сорок лет в этом году. Это ж еще десять лет, и мы с тобой — золотые жених да невеста.

— Да, Лидочка, это точно.

— И не заметишь, как пролетят…

Иван Степанович только головой покачал, но Татьяна, которой мать слово в слово сон пересказала, решила:

— Да отметьте вы свое сорокалетие! Это же и вправду праздник ваш, может, и мои занятые брат с сестрицей пожалуют. Отметьте, осилим как-нибудь.

Честно говоря, Ивану Степановичу не хотелось затевать этого праздника. Он намеревался устроить своей Лидочке небольшой сюрприз, поскольку тайком приобрел подарок на сэкономленные деньги. И улыбка, которой отблагодарила бы его Лидия Петровна, была бы во сто крат дороже той шумихи и суеты, которая неминуемо возникнет от самой подготовки их юбилея. Запланированная радость всегда превращается в мероприятие: в этот закон Иван Степанович верил безусловно, поскольку прожил достаточно долгую и трудную жизнь в стране с непременным планированием всех праздников, торжеств и юбилеев. Но в данном случае он ничего не сказал,

потому что очень уже Лидия Петровна обрадовалась возможному приезду остальных детей, которые редко баловали их посещениями.

— Может, дети приедут. Юрочка и Маришка.

— Так ведь картошки вареной все равно нам с тобой уж никто не пришлет, — улыбнулся муж.

— Не пришлет, — согласилась Лидия Петровна. — А того шампанского можно достать? И кагору бы. «Араплы» он назывался, я все помню!

— Сделаем, — сказал Иван Степанович. — Для такого случая, Лидочка, ничего не жалко.

Он хорошо знал все законы и постановления и неукоснительно, с подчеркнутой старательностью соблюдал их во всех случаях жизни. Это был его собственный способ борьбы с повсеместно укоренившимся разгильдяйством и наглым ничегонеделанием: Иван Степанович личным примером как бы укорял и стыдил всех тех, кто позволял себе не исполнять, нарушать и обманывать. И чуточку гордился этим своим личным вкладом в общее дело.

Но просьба жены требовала официальных разрешений, чтобы это не выглядело нарушением. Конечно, никто не объявлял сухого закона, и все же Иван Степанович терзался, не нарушает ли он тем самым… Но ответ могли дать только

в официальном учреждении, и он, взяв старое, пожелтевшее свидетельство о браке, пришел в загс.

— Видите ли, тут такое деликатное дело. Мы с супругой хотели бы отметить…

— Это сорок лет получается? — почему-то с невероятной брезгливостью спросила молодая сотрудница. — Ишь, чего захотели. Положено пятьдесят, и ждите.

— Но… десять лет ждать, могу и не дожить, — вдруг заискивающе сказал Иван Степанович, но девица перебила:

— Вот если кто из вас помрет, то по свидетельству о смерти могу дать разрешение на десять бутылок водки.

— Не нужна нам водка. — Иван Степанович чувствовал собственную угодливую интонацию, негодовал, но сменить ее не решался. — Нам бы шампанского и кагору «Араплы». Так, для памяти…

— «Араплы»! — презрительно повторила девица. — У нас нет никакого кагора с шампанским, а есть алкогольные единицы. Доживете до своей золотой, и я вам лично десять единиц…

— Я понял, понял, хорошо! — вдруг суетливо и виновато заговорил Иван Степанович, взял

свидетельство и вышел из загса с большой поспешностью.

Конечно, его неприятно кольнуло, что сотрудница так бестактно намекала на их невеселый возраст, делая это с особо настырной бесцеремонностью. И все же не это было самым обидным. Зависимость — вот что оказалось нестерпимо оскорбительным. Глупейшая зависимость от скверного настроения, каприза, дурного характера, сиюминутной обиды тех, от которых зависело, дать ему право исполнить просьбу жены или — не желаю, и все! — не давать такого права. «Господи, ведь я же и тогда непьющим был, — с глубокой обидой думал Иван Степанович. — А теперь к алкашам приравняли. На пенсии, на старости лет…»

Да, никто больше не посылал последнюю свою картошку на чужой праздник. Никто…

А праздник все равно должен был состояться непременно таким, каким хотелось видеть его Лидочке — располневшей, усталой, одышливой. А хотелось ей, чтобы на праздничном столе в честь сорокалетней годовщины ее великой радости стояли две бутылки — бутылка шампанского и бутылка кагора «Араплы», которых ни она, ни ее Ванечка заведомо не тронут, поскольку это им

давно уже запретили врачи. Но тронут их дети. По глоточку, как причастие. И непременно все трое.

А идти было некуда. И жаловаться не на кого. Потоптался Иван Степанович возле загса, повздыхал, кое-как зализал ссадину в душе своей и решил сходить в последнюю инстанцию, которая еще занималась нуждами и правами фронтовиков.

— Ты что это, Костырев, постановление общего нашего собрания, которым мы на историческое решение откликнулись, позабыл? — с упреком спросил его председатель городского Совета ветеранов. — Мы же единогласно решили, что негоже участникам Великой Отечественной войны без очереди получать водку. Не к лицу это нам, которые всегда, с ранней юности громко откликались. Да ты же помнишь!

— Помню, — удрученно согласился Иван Степанович. — Но тут такой случай. Сорокалетие свадьбы фронтовика с фронтовичкой. Может быть, в порядке исключения, а?

— Тем более! — воскликнул председатель. — Два фронтовика вдвойне повышают ответственность, какие тебе еще исключения? Это ж позор, если вдуматься, а не исключение. Форменный позор всем тем, кто кровь свою…

— Верно, верно ты говоришь, правильно, — торопливо забормотал Костырев, вставая. — Виноват. Признаю свою ошибку. Счастливо оставаться.

Лидия Петровна и Иван Степанович числились «на заслуженном отдыхе», то есть с раннего утра стояли в разного рода очередях, таская в дом то, что удавалось выстоять, что, на их счастье, «выбросили» в продажу и что они успели ухватить. Их семье еще очень повезло, и все кругом завидовали им тайно или явно. А повезло потому, что они имели два удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны и, хоть отпускали по этим удостоверениям мало, они и эту малость получали в двойном размере, а значит, в глазах всего многоквартирного блочного дома жили припеваючи, то есть так, как — в чем были уверены все жильцы — живут только в Москве. В той самой легендарной, ломящейся от продуктов Москве, из которой оказавшиеся там привозили сумки, набитые мороженым мясом, безвкусными сосисками и осклизлыми колбасами в целлофановой упаковке.

— Ну, Москва живет! — вздыхали. — Постоять, конечно, приходится, но сами-то москвичи в очередях не стоят. Им, говорят, заказы на дом

развозят. Ну все, что только душа пожелает, — на дом!..

Костыревы в Москву не ездили и разговоров подобных не опровергали, хотя относились к ним неодобрительно. А Иван Степанович имел собственную теорию, которая как бы сглаживала уж чересчур бросающуюся в глаза несправедливость:

— В Москве иностранцев полно. Что они о нашей державе там у себя напишут, если в магазинах будет, как у нас? Клевету они напишут. И вот, чтобы не было у этих заграничных писак почвы для клеветы, мы и свозим в столицу все, что имеем.

А с винной эпопеей произошла какая-то странность. Поначалу практически все искренне приветствовали борьбу за трезвость и радовались, ощущая первые результаты этой борьбы. А они были: перестали пить на производстве, в подворотнях, на улицах и просто так. Прекратилось пьяное бахвальство, в парках, кинотеатрах и даже на танцплощадках стало вполне пристойно, и матери перестали дрожать за дочек. Город трезвел на глазах, милиция энергично хватала любого, от кого хоть чуточку попахивало, а по вечерам молодые женщины уже отваживались

гулять по главной улице. Утихли вопли и драки, меньше стало матерщины, и городские власти с удовлетворением констатировали заметное снижение преступности. И это было правдой, но некий червячок уже начал подтачивать трезвое благополучие города.

Беда заключалась в том, что резкое сокращение продажи винно-водочного веселья не могло не войти в конфликт с уже сложившимся стереотипом «хватай, пока дают». Бутылка, приобретенная с невероятной затратой времени, как бы аккумулировала в себе это время, повышая собственную стоимость, пока не стала вполне осмысленной валютой. Валютой, которой можно оплатить любую услугу, выгодно перепродать в часы, когда официальная продажа запрещалась; которая никогда не теряла своей стоимости, а наоборот, неуклонно росла в цене, скромно спрятавшись в темном уголке кухонного шкафа. И поняв это, в очередь за «валютой» встали не только отпетые алкоголики, но и вполне трезвомыслящие жители. И очереди стали расти изо дня в день, а вместе с ними росла и цифра абсолютного потребления алкоголя городом. Росла, вместо того чтобы падать.

— Картину портим, — сокрушенно вздохнуло

очень влиятельное лицо. — Подработайте этот вопрос.

Подработали. По городу поползли свинцовые слухи:

— Магазины закроют…

— Время продажи сократят…

— По одной в руки…

Позже, когда в торговую сеть города спустили распоряжения и указания, слухи стали более конкретными. Это не означает, что они перестали быть слухами, нет, никто ничего не объяснял, ни в одном магазине не появилось ни одного объявления и ни в одной газете — ни строчки информации. Для горожан привычно соблюдалась тайна, и жители города привычно компенсировали ее фантастическими домыслами.

— Вообще все закроют…

— Не надо, Ванечка, — почему-то виновато вздохнула Лидия Петровна. — Бог с ним, с праздничком нашим.

Не скажи она «с праздничком нашим», Иван Степанович согласился бы — против жизни, как говорится, не попрешь. Но его жена думала о их наступающем сорокалетии как о празднике, и Костырев не мог допустить, чтобы этот праздник не состоялся. Слишком многое они пережили,

слишком часто от многого отказывались, слишком мало сил осталось, слишком уж хотелось увидеть сына со старшей дочкой, чтобы рассудительно готовиться еще десять лет к точно такому же событию, но с иной, официально признанной датой.

— Надо! — строго и торжественно сказал муж, точно произнося клятву. — Будет и на нашей улице праздник, Лидочка.

— Так ведь очереди…

— Правильно отец сказал, мама, — вмешалась Татьяна. — Ну, постоит, может, как фронтовику…

— Как фронтовику не положено. Отказались мы от льгот в этом направлении.

— А вот назло! — непонятно, но горячо объявила дочь. — Обязательно даже, и все!

Продажа спиртного начиналась в два часа: это Иван Степанович знал из многочисленных объявлений в печати и по телевидению. Но поскольку сам он в этих очередях не стоял, то и понятия не имел, по скольку бутылок отпускают в одни руки. В этом вопросе он опирался только на слухи, а они авторитетно утверждали, что перед Новым годом есть распоряжение «ровнехонько одну на нос», а пессимисты поговаривали, что вполне возможна комбинация «одна на два носа». Как

бы там ни было, а Иван Степанович здраво предполагал, что «одну на рыло» — распределение вполне реальное.

— Придется, Лидочка, выбирать: либо шампанское, либо кагор. Две сразу, так думаю, что не позволят.

— Гулять так гулять, Ванечка, — бесшабашно улыбнулась Лидия Петровна. — Вместе мы с тобой жизнь прожили, вместе и за вином постоим. Назло, как Татьяна говорит.

— Точно, мама! — крикнула дочь из комнаты. — Чем больше запретов, тем дети злее: этот закон мне еще в педучилище растолковали.

— Постоим, Лидочка. — Иван Степанович озабоченно покивал. — Только ведь долго стоять придется, часа два, не меньше, говорят.

— Подменимся. Я постою — ты посидишь, а потом наоборот. И выйдем пораньше: день-то рабочий, а мы с тобой пенсионеры.

Вышли они к одиннадцати, за три часа до начала, но от магазина «Вино» уже вилась длинная очередь, во многих местах обозначенная ящиками, перевернутыми ведрами и даже складными стульями.

— Люди это, люди, — сердитой скороговоркой пояснила сухонькая старушонка с колючими

глазками. — Они все загодя пришли, загодя, знаю.

— За час все явятся, — сказал полный мужчина далеко не пенсионного возраста, занявший очередь за ними. — У нас закон железный: за час до открытия не появился, значит, не стоял.

А люди все подходили и подходили, и очередь росла на глазах. Хвост ее удлинялся, шевелясь и изгибаясь, и от этого непрерывного шевеления она казалась живой сама по себе, автономно, вне зависимости от людей, и, глядя на нее, можно было бы, пожалуй, более точно понять выражение «зеленый змий», хотя змий был скорее скучно-серым. И еще он хрустел снегом, беспрестанно переступая сотнями ног.

— С наступающим!..

Стоявшие в очереди были людьми вежливыми, и предновогоднее приветствие парило над растущим змием. Хвост его уже завернул за угол, уже потерялся, пропал из поля зрения, но не мог пропасть из сознания, ибо каждый из стоявших в очереди ни на мгновение не переставал ощущать себя частичкой единого целого. У всех были равные возможности, единая цель и одинаковый способ ее достижения: по двадцатке в магазин. Двадцатку эту отсчитывали милиционеры, про-

пускали ее внутрь, к прилавку, а остальных задерживали, пока продавщица не кричала: «Давай следующих!» Тогда определялась очередная двадцатка, очередь передвигалась на двадцать шагов и послушно замирала до следующего крика.

— Порядок, — подытожил полный, объяснявший Костыреву технологию приобретения спиртного. — Конечно, если у кого знакомство, тогда другой коленкор. Тогда без очереди пригласят: мол, Сидор Иваныч, проходи.

— И никто не спорит? — скорее из вежливости, чем из любопытства, спросил Иван Степанович.

— Себе дороже! Поспорь, попробуй, а она тебя спекулянтом объявит. Мол, ты уже сегодня покупал. И ори не ори — все равно милиция выведет. А то и привлечет. Сейчас те, кто на водке, — большая сила.

— С наступающим, граждане!

К ним подошли двое мужчин неуловимого возраста, неуловимой профессии, неуловимого семейного положения: их различали только рост и масть. Один был черен и высок, другой — тощ, белес и мелковат. Ко времени их появления очередь уже разбилась на крохотные микрообщества из двух-трех особей, объединенных

территориально, и эти двое шли сейчас вдоль очереди, перекатываясь от группы к группе.

— А, вот и знакомый! — радостно объявил чернявый, увидев полного. — Мы же за тобой занимали, точно?

— Точно, мужики, — без особого энтузиазма отозвался полный, стоявший за Костыревыми. — Че слыхать?

— А то слыхать, что народ всегда правду режет, — сказал, шикарно сплюнув, чернявый. — На Первомайской — ку-ку водяра, у трамвайного кольца — тоже ку-ку, а на Водопьяновской — переучет.

— Мордуют, — вздохнул полный.

— Вот! — Чернявый опять сплюнул. — И потому здесь сегодня не змея тебе, а удав будет. — Он сурово оглядел стариков Костыревых и неожиданно мягко добавил: — Катитесь отсюдова, старички, а особо ты, мамаша. Бока намнут, это я те точно говорю.

— Сорок лет нам, сынок, — почему-то с некоторым заискиванием сказала Лидия Петровна. — Отметить хочется, дети приедут.

— Ну, гляди, мамаша. Я ведь от души.

И пошли, перекатываясь к следующим группам и везде завязывая разговор, везде находя если не

знакомых, то завсегдатаев очередей. А старуха с пронзительными глазками, что стояла впереди, пояснила:

— Нарочно пугают, нарочно. Чтоб, значит, на твое место впереться. А денег у них — куры не клюют. Потому-то и проспали.

— Не проспали, а ночь работали, — поправил ее полный. — Это таксисты, у них смена по двенадцать часов.

— Спекулянты они, а не таксисты. Спекулянты! Я их тут…

— И я тебя, — с угрюмой угрозой перебил мужчина. — Сколько мест в очереди заняла сегодня, старая карга? И за трояк каждое продаешь за час до открытия.

— Чего врешь, чего врешь-то…

— Ладно, не егози, пока я про твое занятие людям не рассказал. А то ведь взашей вытолкают и очень даже правильно сделают.

— Вытолкают… — вдруг тихо согласилась старуха, и слезы градом посыпались из воспаленных остреньких глазок. — А пенсию ты мою знаешь? Знаешь? Можно на нее жить, коли у меня дочка — инвалид полный с самого детства, а муж помер давно.

— Это у тебя-то муж помер? Ты мне баки-то не

заливай, старая.

— Ну нету мужа, нету. А дочка-то есть? Есть. И всю свою жизнь — инвалид. — Она громко всхлипнула и обратилась непосредственно к Лидии Петровне: — Поверишь ли, милая моя, не накормишь, так и не поест. И в двадцать один годочек — все дитя дитей.

— А ты где ее заделывала, вспомни. При буфете на пристани за полбутылки с любым сезонником…

До сих пор старики Костыревы застенчиво помалкивали. Они не стояли в подобных очередях, не слыхали обычных для этих очередей перебранок, не привыкли к крепким выражениям. Им было так неуютно, что они старались не глядеть не только по сторонам, но и друг на друга. Но последнего заявления не выдержала Лидия Петровна.

— Постыдились бы, — негромко сказала она. — Гражданочка в матери вам годится, а вы…

— В матери? — вдруг озлобился полный мужчина. — Нужна мне…

— Ну, хватит, хватит, — миролюбиво и чуть заискивающе зачастил Иван Степанович. — Не надо ругаться, не надо ссориться. Свои же люди, советские, в одной очереди стоим.

Воспользовавшись переключением внимания, старуха, шепнув Лидии Петровне: «Я на минуточку…» — выскользнула из очереди бесшумно и незаметно, как мышка. А полный мужчина, занятый разговором с Костыревым, смущенно крякнул:

— Извиняюсь, конечно, просто достала она меня. И так обид у нас накопилось — на три Франции хватит, а тут эта…

— Мы понимаем, понимаем, — согласно закивал Иван Степанович. — Очень уж стояние в очередях нервы выматывает. И обидно, конечно, вы правы. Мы фашисту голову скрутили, двадцать миллионов жизней не пощадили, а очереди — больше довоенных. Может, вредительство какое?.. — Он вдруг спохватился, что ляпнул нечто из прошлых формулировок, испугался, потоптался немного и сказал вдруг: — Может, пойдем отсюда, а, Лидочка? Ну их, бутылки эти.

— Нет уж, Ванечка, столько стояли, а теперь — домой? Нет уж, достоим. Мы ведь с тобой и не такое выдерживали…

А очередь тем временем жила своей жизнью, жизнью отдельных людей, добровольно выстроившихся друг за другом в стремлении к общей цели. Цель эта была равно достижима для каж-

дого, и поэтому здесь не было ни особых ссор, ни сведения счетов, ни попыток поставить себя в положение исключительное. Нет, все добровольцы знали, на что они шли, а потому и запаслись достаточным терпением. И если очередь гудела — так сдержанно, если вздыхала — то разом, а если топталась, то на месте, только чтобы размять ноги. Она была несравненно больше обычных очередей за мясом, колбасой, сыром или маслом, но в отличие от них — женских, истерично крикливых, недоверчивых, суетливых — обладала внутренним порядком, спокойной выдержкой и даже известным достоинством. И когда Иван Степанович осознал эту разницу, удивился:

— Знаешь, Лидочка, люди-то у нас больно хороши. В такой очереди, а стоят себе смирно, покойно. И никакие не алкаши мы: просто судьба на нас всю жизнь сбоку глядит.

— Точно, Ванечка, — вздохнула жена, — сбоку, это точно.

— Ведет! — сказал полный, стоявший за ними. — А я что говорил?

К ним приближались оскорбленная старуха и солидный мужчина в дубленке. Лицо у мужчины было хмуро отрешенным и одновременно брезгливым, точно он делал очереди невесть какое

одолжение.

— Это вместо меня, значит, — поспешно сказала старуха. — Сосед мой. А мне и вина вашего не надо. Не надо!..

И поспешно засеменила прочь. А полный весело поинтересовался:

— Эй, сосед, сколько бабуле за очередь отвалил?

— Вы ко мне? — Дубленка с достоинством, всем телом повернулась. — А вам что за дело? Я же, кажется, у вас не спрашиваю?

— Чего, например? — грубовато отозвался мужчина. — Ты, дядя, тут не рыпайся, тут все равны, это тебе не в кабинете сидеть. Тут, чтоб ты знал, полная демократия с гласностью уже выполнены и перевыполнены.

— Но вы таким тоном спросили…

— Товарищи, пожалуйста, прошу, прошу, — зачастил миролюбивый Иван Степанович. — Знаете, как-то даже неудобно, честное слово. За таким, можно сказать, продуктом стоим, дружно стоим, чинно и мирно.

Засмущались его соседи. Переглянулись, дубленка полного сигаретой угостила, усмехнулись почти по-приятельски.

— Я ведь только ценой за место поинтересо-

вался.

— Три рубля, — вздохнула дубленка. — Думаете, я из-за этого трояка расстроился? Да наплевать, я из-за спекуляции расстроился. Сами же ее и порождаем, сами, добровольно! То, понимаете ли, дефицитом, то неритмичным снабжением, то вот такими не очень продуманными мерами по борьбе с пьянством накануне праздника.

— Тут они — мастаки, — угрюмо согласился полный. — Что им очередь наша, им ведь в ней не стоять: в спецбуфете либо в спецзаказе наверняка бутылек-другой подсунут.

— Чего не знаю, о том не говорю, — строго определила свою позицию дубленка. — Но ведь всем известно, что существуют народные и государственные праздники, так зачем же усложнять населению жизнь? Надо усложнять, когда нет никаких праздников, когда в очереди, как правило, либо употребляющие регулярно, либо бездельники, либо спекулянты. Это был бы разумный государственный подход.

— Усложнять никогда не надо, — не согласился полный. — Упрощать надо, и так все заусложняли — ни вздохнуть, ни пер… Извиняюсь, мамаша, конечно, сорвалось.

Он пытался порою вовлечь в общий разговор

застенчиво помалкивающих стариков. То ли симпатичны они ему были, то ли жалел он их, то ли, наоборот, с трудом выносил их инородные в этой очереди смущенные лица. Как бы там ни было, а обращался он к ним с неизменным грубоватым добродушием.

— А ведь раньше, до войны, не пили, правду я говорю, Ванечка? — сказала Лидия Петровна, даже в этой лишенной сентиментальности очереди не утратив привычного обращения к мужу. — Это ведь вы, молодые, не помните, а мы помним.

— Дешевая тогда была водка — ну, прямо, копейки, — поддержал ее супруг. — Но чтоб так вот, как сейчас, или, особо если, как пять-шесть годков назад, так, конечно, не употребляли. Не было этого в привычке.

— А потом сто граммов наркомовских ввели — и сразу привычка образовалась? — насмешливо спросил мужчина в дубленке. — Упрощаете вы социальную нашу болезнь, уважаемые товарищи фронтовики.

— У нас это не социальная болезнь, — негромко, но с неколебимой уверенностью сказал Иван Степанович. — У нас не может быть социальных болезней, потому что у нас бесклассовое общество. У нас распущенность нравов из-за периода

застоя.

— Опять в исключительность играем? — усмехнулась дубленка.

— У них все пороки, у нас все добродетели. Удобно!

— Бред — ежу ясно, — поддержал его полный. — Лапшу на уши полвека людям вешают.

— Полвека полнейшей дезинформации и разухабистого вранья, — серьезно, даже строго сказал мужчина в дубленке. — Помните знаменитую рубрику «Их нравы»? А выяснилось, что это заодно и наши нравы: и взяточничество, и преступность, и наркомания, и проституция, и алкоголизм, и казнокрадство, и даже, представьте себе, мафий разного рода у нас оказалось предостаточно. Вот ведь какова объективная реальность, а вы и до сей поры, как страусы, головы в песок: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего и знать не хочу.

— Нельзя же огульно охаивать наши достижения, — тихо, но крайне твердо сказал Иван Степанович. — Мы, между прочим, фашизм разгромили…

— Милиция!.. — вдруг прокатилось по очереди. — Милиция приехала! Становись в затылок друг другу! Становись в затылок!

— И никого не пускать! — закричало сразу несколько женских голосов. — Живая очередь! Живая!..

Очередь и впрямь ожила: задвигалась, загомонила, выстраиваясь строго в затылок друг другу, прижимаясь к стене дома и от этого заметно отступая назад. Иван Степанович заботливо поставил перед собой Лидию Петровну. Она оказалась за дубленкой, а за спиной самого Костырева сопел и ворочался полный мужчина:

— Через полчаса пускать начнут. Первую двадцатку.

— А почему через полчаса? — удивился Костырев. — До открытия всего десять минут осталось. Ровно десять: сейчас тринадцать пятьдесят.

— Разобраться должны, — прогудел полный. — Кому где стоять, кого куда пускать.

— Разобраться? — живо откликнулась дубленка. — Разобрать, а не разобраться. Кому сколько бутылок сегодня принести поручено.

— А вы злой, — вздохнула Лидия Петровна и виновато улыбнулась.

— Я не злой. Прощать мне надоело, понимаете?

— И напрасно. Прощение — великая сила.

— Прощение — великое равнодушие. Вот ко-

гда все мы, весь народ, как в войну, научимся ничего никому не прощать, тогда и случится то, что называется перестройкой. А будем прощать, как прощали, так и останемся на том же месте. Догнивать на передовых идеях.

— Хана, мужики! Хана! Еще раз вздрючили, гады!..

С этими непонятными криками вдоль очереди семенили давешние знакомцы, которых полный мужчина назвал таксистами, — черный и белесый. Вид у них был настолько взволнованный, что полный, не утерпев, схватил белесого за рукав:

— Здесь вы стоите, за мной. Чего орешь?

— А то, что водки в два раза меньше обычного, понял? Двадцать ящиков вместо полста!

— И вина тоже урезали, — возмущенно подтвердил чернявый. — Мы точно знаем, сами грузчиков спрашивали.

— Что хотят, то и делают. Ну, что хотят, то и делают!.. — С этими патетическими возгласами оба таксиста стали энергично втискиваться в уже чинно выстроившуюся очередь.

— Вы тут не стояли!

— Стояли! Вон, у мужика спроси! Мужик, поддержи!

— Стояли они, стояли, — подтвердил полный, потому что они влезали как раз за его спиной и он не хотел напрасных осложнений.

— Не видела я их! Не видела! — истерично кричала женщина сзади. — Не пускайте их! Не пускайте, граждане, что ж это делается!..

— Молчи, тетка. Мы в разведку ходили.

— Милиция! Милицию позовите!..

Участок очереди, где смирно стояли Костыревы, вдруг ожил, зашевелился, задвигался, качаясь и выпучиваясь. Люди испуганно хватали друг друга за одежду, за плечи, за пояса, чтобы только удержаться в строю, чтобы случаем не вылететь из него.

— Милиция!..

— Не пускайте никого! Не пускайте!..

— Держитесь друг за друга! Плотнее, плотнее!..

— Никого не пускать! Никого! Живая очередь! Живая!..

Очередь оживала все энергичнее, хотя таксистам уже удалось в нее вклиниться, и они теперь тоже крепко держались за соседей. Начавшаяся в этом месте суета, толкотня и неразбериха перекатывалась в обе стороны: удав просыпался, и дрожь его тела ощущалась во всех звеньях. И все цеплялись друг за друга, ворочаясь одно-

временно, слепо и бессмысленно. И чем дальше происходила подвижка от центра возмущения, тем все больше она теряла конкретный смысл, заменяясь интересами всеобщими.

— В два раза меньше, говорят…

— Говорят! А в четыре не хотите?..

— Борьба за нашу трезвость. Лучше бы за свою поборолись.

— На скольких же сегодня хватит, а? Нам-то хоть достанется?

— Может и не достаться.

— Как это то есть, может? Я четыре часа стою!..

— Эй, милиция! На сколько человек завезли?

— Продавца сюда! Давайте продавца, пусть объяснит!

— И пусть по одной бутылке в руки!..

— Это еще почему? А если у меня гости?..

— В порядке живой очереди!..

— Живой…

В это время открылась одна из створок магазинных дверей: вторая была заделана наглухо да еще дополнительно укреплена. Так было легче сдерживать напор очереди, легче бороться с попытками проникнуть в магазин сбоку, легче отсчитывать двадцатки счастливчиков, которых допускали внутрь. Это была вполне разумная

мера, рассчитанная на спокойную, «мертвую» очередь, но сегодня очередь оказалась «живой».

— Открыли!..

Никто потом не мог объяснить, почему вдруг привыкшая к безмолвному послушанию, выстроенная строго в затылок друг другу очередь именно в этот миг безудержно устремилась вперед. Половина двустворчатых дверей была уже распахнута настежь, двух милиционеров и продавщицу смели с порога, отбросили в тамбур, прижали к стене, и уже не очередь, а охваченная единым движением толпа повалила в магазин, в считаные секунды до отказа переполнив его. Затрещали прилавки, закричали женщины, зазвенели стекла.

— А-а-а-а!..

Рев возник сам собою, как выдох из множества зажатых, стиснутых, смятых грудных клеток. Звериный рев вместе с истошными, полными ужаса женскими криками, громогласной матерщиной, треском ломаемых перегородок. Ни о каких покупках, естественно, и речи идти не могло: распихивая окружающих, наиболее сильные прорывались за разгромленные прилавки, хватали из ящиков столько бутылок, сколько успевали, и начинали тут же яростно проры-

ваться к единственному выходу — к служебным подсобкам, где были двери на улицу. Уже кто-то кого-то ударил, уже вовсю работали кулаками, плечами, ногами, уже никого и ничего не видели, кроме заветных бутылок, и уже никто никого не жалел и не щадил.

— Что ж вы делаете, что де-е!..

— Тише!.. Тише!..

— Люди!..

— Спаси-и!..

Гулко треснуло и со звоном вылетело витринное стекло. Кого-то бросали на него, кого-то прижимали к его осколкам: брызнула первая кровь, упали первые люди, но и по крови, и по людям неудержимо, с бессмысленной силой и яростью топали новые семенящие ноги. Конечно, большинство шло не по своему желанию и вопреки своей воле, но у толпы свои законы, не подчиняться которым не может ни один самый отчаянный одиночка: его сомнут и раздавят. С толпой есть лишь один способ борьбы: не допустить ее возникновения. Но здесь она уже вышла из-под контроля.

В тесном магазинчике — местные власти сделали все, чтобы затруднить жителям приобретение спиртного, — был ад. Кричали, дрались, топтали

упавших, рвали за одежду, за волосы, визжали от ужаса, матерились и били, били, били, прорываясь то ли к ящикам с водкой, то ли просто на волю. Но улица, слыша вопли и топот, не представляла себе истинного положения дела, а если бы и представляла, уже ничего не смогла бы сделать. Массовый психоз, превращающий нормальных, спокойных, даже выдержанных людей в одичавших громил, не знающих ни жалости, ни милосердия, уже поразил ее. Все стремились только к одной цели: попасть в магазин, и даже те немногие, которые уже не хотели этого, поделать ничего не могли. Они могли лишь подчиниться законам толпы, то есть идти туда, куда она вела…

— А-а-а!..

— Люди!.. Товарищи-и!..

— Лидочка!.. Лидочка, держись за дубленку товарища!.. Держись, Лидочка!..

Сам Иван Степанович за свою Лидочку держаться не решался. Он изо всех сил оберегал ее от толчков, и его мотало в толпе, как щепку. Старики все время пытались выбраться из очереди (бог с ним, с шампанским и кагором «Араплы»!), но чинная очередь давно сломалась, давно образовала несколько параллельных рядов, а задние все на-

жимали и нажимали, и приходилось старательно семенить, чтобы не упасть, не споткнуться, не позволить оторвать себя от стены, вдоль которой они когда-то выстраивались, потому что с этой стороны никто не давил, не жал, не дергал.

— Лидочка, держись!..

— Ванечка, обопрись на меня. Ванечка, обопрись…

— Люди, опомнитесь! — кричала дубленка, покорно семеня к входным дверям под напором сзади стоящих. — Что же вы делаете, люди?!.

Торопливо семенящая очередь — уже не в один, а в два-три ряда! — втягивалась в узкую дверь магазина, как в воронку. Вторая, наглухо заделанная створка, в которую беспрестанно ударялись то плечами, то грудью, то головами те, кого несло с перекосом, мимо открытой двери, вздрагивала под этими ударами, но пока стояла несокрушимо, заблаговременно укрепленная железными полосами. Здесь было самое узкое место, резкий перепад, за которым следовал относительно свободный тамбур и еще одни двустворчатые двери, ведущие непосредственно в магазин. Эти двери, ничем не укрепленные, были сметены первым же людским потоком, разбиты и распахнуты настежь. Таким образом, сразу же за узким выходом

движение на некотором промежутке ускорялось, чтобы затем тупо упереться в неразбериху, крики, стоны, слезы, матерщину, звон посуды и треск ломаемых переборок.

— Держись, Лидочка!.. — отчаянно закричал Иван Степанович. А закричал он, потому что сильным нажимом пристроившейся «незаконной» очереди его оторвало от Лидии Петровны. Между ним и его женой вклинились широкие суконные спины, кто-то локтем двинул Костырева в лицо, но он не почувствовал боли. Он весь был впереди, он думал только о ней, о своей Лидочке, унесенной человеческим потоком, пытался увидеть хотя бы ее платок, но Лидия Петровна была маленького роста, и суконные спины напрочь перекрывали ее.

— Говорил, держись за старуху! — зло кричал над ухом полный, приклеившийся к Костыреву, как пластырь. — Скольких вперед пропустил, дерьмач старый!

— Лидочка!.. Лидочка!.. — не слушая, надрывно кричал старик, покорно семеня к дверям в объятиях полного соседа.

Крик потонул в отчаянном женском вопле, полном боли и ужаса, и Костырев не то чтобы узнал — животный крик этот узнать было уже

немыслимо, — Костырев понял, кто это кричит.

— Лидочка!.. Тише!.. Прошу, товарищи, милые, прошу…

А впереди в узком проеме дверей творилось нечто непонятное. Очередь вдруг заметалась, многие неожиданно начали подпрыгивать у самого порога, резко усилились крики, но, кроме мата да отдельных междометий, ничего нельзя было разобрать.

— Лидочка!..

Костырева уже поднесло к двери, и он увидел ее. Свою жену, с которой прожил сорок лет без четырех дней, женщину, родившую ему троих детей. Боевого товарища, фронтовую радистку, раненную за неделю до конца войны.

— Лидочка…

Она лежала ничком на самом пороге, платок сбился с седой головы, и на этой седине особенно ярко проступила кровь. Видно, ударило Лидию Петровну виском о косяк, видно, уронили ее те, кто давил сзади, видно, отшатнулся в естественном порыве тот, в дубленке, и она упала лицом вниз, а правая, неестественно вывернутая рука пересекла порог. И на какую-то долю секунды, сдержав чудовищный напор толпы собственным старческим телом, Иван Степанович с необы-

чайной, неестественной ясностью увидел и окровавленную голову, и растоптанную откинутую руку, и тут силы покинули его, и он рухнул на ее тело...

1988

Великолепная шестерка

Кони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.

— Хелло, Вэл!

— Хелло, Стае!

Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен «винчестер», Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь «кольт» и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!

Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей

пристреливают, не правда ли?

— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.

— Ты молодец, Роки.

— Да, клевое дельце.

— А что делать с лошадьми?

— Завтра еще покатаемся.

— Завтра — конец смены, Эдди.

— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!

Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналя. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами, тронулись в путь.

— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?

Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодея-

тельность, за наглядную агитацию, за чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.

Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к ее лагерю, что

Кира Сергеевна рассердилась.

— Наверняка из-за каких-то пустяков, — говорила она по пути в собственный кабинет. — А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.

— Да, да, — преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение…

— Пригласите физрука, — распорядилась Кира Сергеевна. — На всякий случай.

Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.

— В чем дело, товарищи? — строго начала она. — Без телефонного предупреждения врываетесь в детское учреждение…

— Извините.

У окна стоял милицейский лейтенант настоль-

ко юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.

— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь…

Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не

понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.

— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.

Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.

— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.

Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот чужой страх, и ее собственная боязнь, ее собственная растерянность тут же

исчезли без следа. Все отныне встало на место, и разговором теперь управляла она.

— Скудно выражаете мысли.

Милиционер посмотрел на нее, усмехнулся.

— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова, угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.

Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.

— Конечно, кони теперь без надобности, — вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями. — Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.

Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и

сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда рвался защищать женщин.

— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он. — «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.

— Он контуженый, — глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.

— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс, — внушительно сказал физрук. — Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.

— Шестеро к деду ходили неоднократно. Называли друг друга иностранными именами, которые я записал со слов колхозных ребят… — Лейтенант достал блокнот, полистал. — Роки, Вел, Эдди, Ден. Есть такие?

— В первый раз… — внушительно начал физрук.

— Есть, — тихо прервала вожатая, начав буйно краснеть. — Игорек, Валера, Андрей, Дениска. Это же великолепная шестерка наша, Кира Сергеевна.

— Этого быть не может, — твердо определила начальница.

— Конечно, бред! — тотчас подхватил физрук, адресуясь непосредственно к колхозному пенсионеру. — С похмелюги, отец, поблазнилось? Так с нас где сядешь, там и слезешь, понял?

— Перестаньте кричать на него, — негромко сказал лейтенант.

— Поди, пропил коняг, а на нас отыграться хочешь? Я тебя сразу раскусил!

Старик вдруг затрясся, засучил ногами. Милиционер бросился к нему, не очень вежливо оттолкнув при этом вожатую.

— Где у вас уборная? Уборная где, спрашиваю, спазмы у него.

— В коридоре, — сказала Кира Сергеевна. — Возьмите ключ, это мой личный туалет.

Лейтенант взял ключ, помог старику подняться. На диване, где сидел инвалид, осталось мокрое пятно. Старик дрожал, мелко переставлял ноги и повторял:

— Дай три рубля на помин, и господь с ними. Дай три рубля на помин…

— Не дам! — сурово отрезал милиционер, и оба вышли.

— Он алкоголик, — брезгливо сказала вожатая, старательно повернувшись спиной к мокрому пятну на диване. — Конечно, прежде был герой,

никто не умаляет, но теперь… — Она сокрушенно вздохнула. — Теперь алкоголик.

— А ребята и вправду лошадей брали, — тихо признался физрук. — Мне перед отъездом Валера сообщил. Что-то он еще тогда про лошадей говорил, да отозвали меня. Шашлыки готовить.

— Может быть, признаемся? — ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна. — Провалим соревнование, потеряем знамя. — Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: — Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность, но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили, следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость, наша общая недоработка, а пятно с коллектива не смоешь. И прощай, знамя.

— Ясно, Кира Сергеевна, — вздохнул физрук. — И не докажешь, что не верблюд.

— Надо объяснить им, что это за ребята, — сказала вожатая. — Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна.

— Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, Почетные грамоты. Быстренько систематизируйте.

Когда лейтенант вместе с притихшим инва-

лидом вернулись в кабинет, письменный стол ломился от раскрытых папок, почетных грамот, графиков и схем.

— Извините деда, — виновато сказал лейтенант. — Контузия у него тяжелая.

— Ничего, — великодушно улыбнулась Кира Сергеевна. — Мы тут обменялись пока. И считаем, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать: они — надежда двадцать первого века. И в частности, те, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант.

Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью уяснить, что главное — в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее, а старик, усевшись, вновь вперил тоскливый взор свой куда-то сквозь начальницу, сквозь стены и, кажется, сквозь само время. Это было неприятно, и Кира Сергеевна позволила себе пошутить:

— Бывают, знаете, пятна и на мраморе. Но ведь благородный мрамор остается благородным мра-

мором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас мы покажем вам, товарищи, на кого пытаются бросить тень. — Она зашуршала бумагами, разложенными на столе. — Вот, например… Например, Валера. Прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его Почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик…

— Второй Карпов! — решительно перебил физрук. — Блестящая глубина анализа, и в результате — первый разряд. Надежда области, а возможно, и всего Союза — говорю вам как специалист.

— А Игорек? — робко вставила вожатая. — Поразительное техническое чутье. Поразительное! Его показывали даже по телевизору.

— А наш изумительный полиглот Дениска? — подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных. — Он уже овладел тремя языками. Вы сколькими языками владеете, товарищ милиционер?

Лейтенант серьезно поглядел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил:

— А ты сколькими «языками» овладел, дед? За шестого орден-то дали, так вроде?

Старик задумчиво кивнул, и весомый орден качнулся на впалой груди, отразив позолотой

солнечный лучик. И опять наступила неуютная пауза, и Кира Сергеевна уточнила, чтобы прервать ее:

— Товарищ фронтовик вам дедом приходится?

— Он всем дедом приходится, — как-то нехотя пояснил лейтенант. — Старики да дети — всем родня: этому меня бабка еще в зыбке учила.

— Странно вы как-то объясняете, — строго заметила Кира Сергеевна. — Мы понимаем, кто сидит перед нами, не беспокойтесь. Никто не забыт, и ничто не забыто.

— Мы каждую смену проводим торжественную линейку у обелиска павшим, — поспешно пояснила вожатая. — Возлагаем цветы.

— Мероприятие, значит, такое?

— Да, мероприятие! — резко сказал физрук, решив опять защитить женщин. — Не понимаю, почему вы иронизируете над средствами воспитания патриотизма.

— Я, это… Я не иронизирую. — Лейтенант говорил негромко и очень спокойно, и поэтому все в комнате злились. Кроме старого фронтовика. — Цветы, салюты — это все правильно, конечно, только я не о том. Вот вы о мраморе говорили. Мрамор — это хорошо. Чисто всегда. И цветы класть удобно. А что вот с таким дедом делать,

которого еще в мрамор не одели? Который за собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конечно… да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамором? Тем, что помереть не успел?

— Простите, товарищ, даже странно слышать. А льготы инвалидам войны? А почет? Государство заботится…

— Вы, что ли, государство? Я же не о государстве, я о ваших пионерах говорю. И о вас.

— И все-таки! — Кира Сергеевна выразительно постучала по столу карандашом. — И все-таки я настаиваю, чтобы вы изменили формулировку.

— Что изменил? — переспросил участковый.

— Формулировку. Как неправильную, вредную и даже аполитичную, если смотреть в корень.

— Даже? — переспросил милиционер и опять неприятно усмехнулся.

— Не понимаю, чего усмехаетесь? — пожал плечами физрук. — Доказательства есть? Нету. А у нас — есть. Получается, что клевету поддерживаете, а это знаете чем пахнет?

— Плохо пахнет, — согласился лейтенант. — Скоро почувствуете.

Он говорил с горечью, без всяких угроз и намеков, но тем, кому он это говорил, слышалась не

горечь, а скрытые угрозы. Им представлялось, что участковый темнит, что-то сознательно недоговаривает, и поэтому они опять замолчали, лихорадочно соображая, какие козыри выкинет противник и чем эти козыри следует бить.

— Конь — он как человек, — неожиданно вклинился старик и опять задвигал ногами. — Он только не говорит, он только понимает. Он меня спас, Кучум звать. Статный такой Кучум, гнедой. Счас, счас.

Инвалид встал и начал суетливо расстегивать пуговицы рубашки. Тяжелый орден, обвиснув, раскачивался на скользкой ткани, а дед, бормоча «счас, счас», все еще возился с пуговицами.

— Он что, раздевается? — шепотом спросила старшая пионервожатая. — Скажите, чтоб перестал.

— Он вам второй орден покажет, — сказал лейтенант. — На спине.

Не совладав со всеми пуговицами, старик стащил рубашку через голову и, не снимая с рук, повернулся. На худой, костлявой спине его под левым плечом был виден бурый полукруглый шрам.

— Это зубы его, зубы, — все еще стоя к ним спиной, говорил дед. — Кучума, значит. Контузило

меня на переправе, так в воду оба и упали. Я, это, соображения не имел, а Кучум — вот. Зубами за гимнастерку да вместе с мясом, чтоб покрепше. И выволок. И упал сам. Осколком у него ребра выломало, и кишки за ним волочились.

— Какая гадость, — сказала вожатая, став пунцовой, как галстук.

— Кира Сергеевна, что же это такое? Это же издевательство какое-то, Кира Сергеевна.

— Одевайся, дед, — вздохнул лейтенант, и опять никто не почувствовал его боли и заботы: все своей боли боялись. — Простудишься, так тебя никакой Кучум больше не вытащит.

— Ах, коник был, ах, коник! — Старик надел рубаху и повернулся, застегиваясь. — Мало живут они, вот беда. Все никак до добра дожить не могут. Не успевают.

Бормоча, он заталкивал рубаху в мятые штаны, улыбался, а по морщинистому, покрытому седой щетиной лицу текли слезы. Желтые, безостановочные, лошадиные какие-то.

— Одевайся, дедушка, — тихо сказал милиционер. — Дай я тебе пуговку застегну.

Он стал помогать, а инвалид благодарно уткнулся ему в плечо. Потерся и вздохнул, будто старая, усталая лошадь, так и не дожившая до добра.

— Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне три рубля…

— Родственник! — вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна и резко хлопнула ладонью по столу. — Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника. С какой целью? Под фонарем ищете, чтобы виноватого обелить?

— Конечно же, это ваш собственный дед! — тотчас подхватил физрук. — Это ж видно. Невооруженным глазом, как говорится.

— Мой дед в братской под Харьковом лежит, — сказал участковый. — А это не мой, это колхозный дедушка. А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Колхоз их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, передал.

— Насчет «угнали», как вы употребили, доказать еще придется, — внушительно отметила Кира Сергеевна. — Я не позволю чернить вверенный мне детский коллектив. Можете официально заводить «дело», можете, а сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами.

— Вот, значит, и познакомились, — невесело

усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог старику подняться. — Пойдем, дед, пойдем.

— Дал бы три рубля…

— Не дам! — отрезал участковый и обернулся к начальнице. — Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони были списаны с колхозного баланса, и иск предъявлять некому. Ничейные были кони.

— Ах, кони, коники, — завздыхал старик. — Теперь машины ласкают, а коней бьют. И никак им теперь не дожить до жизни своей.

— Позвольте. — Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. — Если нет никакого «дела», так зачем же… — Она медленно встала, вырастая над собственным столом. — Как вы смели? Это недостойное подозрение, это… У меня нет слов, но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника, слышите? Немедленно.

— Ставьте в известность, — согласился лейтенант. — А потом пошлите кого-нибудь конские трупы зарыть. Они за оврагом, в роще.

— Ах, кони, коники! — опять заныл старик, и слезы капали на нейлоновую рубашку.

— Они, значит, что… умерли? — шепотом спросила вожатая.

— Пали, — строго поправил лейтенант, глядя в доселе такие безмятежные глаза. — От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами уехали. По домам. Кони все объели, до чего дотянуться смогли: листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко, так что и пасть им не удалось: висят там на уздечках. — Он достал из кармана несколько фотографий, положил на стол. — Туристы мне завезли. А я — вам. На память.

Женщины и физрук с ужасом смотрели на оскаленные, задранные к небу мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Корявый дрожащий палец влез в поле их зрения, ласково провел по фотографиям.

— Вот он, Сивый. Старый меринок был, хворый, а глянь, только справа все обглодал. А почему? А потому, что слева Пулька была привязана, древняя такая кобылка. Так он ей оставлял. Кони, они жалеть умеют…

— Пойдем, дед! — звенящим голосом выкрикнул лейтенант. — Что ты им объясняешь?!

Хлопнула дверь, затихло старческое бормотанье, скрип милицейских сапог, а они все еще

никак не могли оторвать глаз от облепленных мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевую бумагу, Кира Сергеевна очнулась.

— Этих, — она потыкала в фотографии, — спрятать… то есть закопать поскорее, нечего зря детей травмировать. — Порылась в сумочке, достала десятку, протянула, не глядя, физруку. — Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтоб милиционер не заметил, а то… И намекните помягче, чтоб не болтал понапрасну.

— Не беспокойтесь, Кира Сергеевна, — заверил физрук и поспешно вышел.

— Я тоже пойду, — не поднимая головы, сказала вожатая. — Можно?

— Да, конечно, конечно.

Кира Сергеевна дождалась, когда затихнут шаги, прошла в личный туалет, заперлась там, изорвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду.

А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавкорпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил две бутылки водки и выпил их в зимней конюшне, где до сей поры так замечательно пахло

лошадьми.

1979

Экспонат № ...

Игорек уходил ранним утром 2 октября 1941 года. В повестке значилось, что он «должен явиться к семи ноль-ноль, имея при себе...».

— Ложку да кружку, больше ничего не бери, — сказал сосед Володя. — Все равно либо потеряешь, либо сопрут, либо сам бросишь.

Володя был всего на два года старше, но уже успел повоевать, получить тяжелое ранение и после госпиталя долечивался дома у отца с матерью. А у Игоря отца не было, только мама, и поэтому мужские советы давал бывалый сосед:

— Ложку, главное, не забудь.

Этот разговор происходил накануне, вечером, а в то раннее утро Игоря провожала мама да женщины их коммуналки. Мама стояла в распахнутых дверях, прижав кулаки ко рту. По щекам ее безостановочно текли слезы, а из-за плеч выглядывали скорбные лица соседок. Неделей раньше ушел в ополчение отец Володи; сам Володя, чтобы не смущать, уже спустился, уже ждал в подъезде, а Игорь вниз по лестнице уходил на войну, и женщины в бессловесной тоске глядели ему

вслед. На мальчишеский стриженый затылок, на мальчишескую гибкую спину, на мальчишеские узкие плечи, которым предстояло прикрыть собой город Москву и их коммунальную квартиру на пять комнат и пять семей.

— Холодно, — гулко сказал снизу Володя. — Главное, не дрейфь, Игорек. Но пасаран.

Было сумрачно, синий свет слабенькой лампочки в подъезде странно освещал маму, которая так хотела проводить его до военкомата, но не могла оставить работу, потому что сменщиц уже не было, а работа еще была. И она потерянно стояла в дверях, отчаянно прижимая кулаки к безмолвному перекошенному рту, а из-за ее судорожно сведенных плеч страшными провальными глазами глядели соседки: по два лица за каждым плечом. Игорь оглянулся в конце первого лестничного марша, но улыбнуться не смог, не до улыбок было в октябре того сорок первого. Но сказал, что все они тогда говорили:

— Я вернусь, мама.

Не вернулся.

И письмо Анна Федотовна получила всего одно-единственное: от 17 декабря; остальные — если были они — либо не дошли, либо где-то затерялись. Коротенькое письмо, написанное

второпях химическим карандашом на листочке из ученической тетрадки в линейку.

«Дорогая мамочка!
Бьем мы проклятых фрицев и в хвост и в гриву, только клочья летят…»

И об этой великой радости, об этом великом солдатском торжестве — все письмо. Кроме нескольких строчек:

«…Да, а как там поживает Римма из соседнего подъезда? Если не эвакуировалась, спроси, может, письмо мне напишет? А то ребята во взводе получают, а мне совершенно не с кем вести переписку…»

И еще, в самом конце:

«…Я здоров, все нормально, воюю как все. Как ты-то там одна, мамочка?»

И последняя фраза — после «до свидания», после «целую крепко, твой сын Игорь»:

«…Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник!»

Праздник был не скоро. Скоро пришло второе письмо. От сержанта Вадима Переплетчикова:

> «Уважаемая Анна Федотовна! Дорогая мама моего незабвенного друга Игоря! Ваш сын был…»

Был.

Был Игорь, Игорек, Игоречек. Был сыном, ребенком, школьником, мальчишкой, солдатом. Хотел переписываться с соседской девочкой Риммой, хотел вернуться к маме, хотел дождаться праздника на нашей улице. И еще жить он хотел. Очень хотел жить.

Три дня Анна Федотовна кричала и не верила, и коммуналка плакала и не верила, и сосед Володя, который уже считал дни, что оставались до медкомиссии, ругался и не верил. А еще через неделю пришла похоронка, и Анна Федотовна перестала кричать и рыдать навсегда.

Каждое утро — зимою и осенью еще затемно — она шла на Савеловский вокзал, где работала сцепщиком вагонов, и каждый вечер — зимой и осенью уже затемно — возвращалась домой. Вообще-то до войны она работала счетоводом, но в сорок первом на железной дороге не хватало людей, и Анна Федотовна пошла туда добровольно,

да так потом там и осталась. Там давали рабочую карточку, кое-какой паек, а за усталой, рано ссутулившейся спиной стояла коммуналка, из которой никто не уехал и в осень сорок первого. И мужчин не было, а дети были, и Анна Федотовна отдавала всю свою железнодорожную надбавку и половину рабочей карточки.

— Аня, все-то зачем отдаешь? Ты сама на себя в зеркало глянь.

— Не вам, соседки, детям. А в зеркало мы с вами и после войны не глянемся. Отгляделись.

Отгляделись, да не отплакались. Еще шли похоронки, еще не тускнели воспоминания, еще не остыли подушки, и вместительная кухня горько справляла коммунальные поминки.

— Подружки, соседки, сестрички вы мои, помяните мужа моего Волкова Трофима Авдеевича. Я патефон его премиальный на сырец сменяла, на что мне теперь патефон. Поплачь и ты со мной, Аня, поплачь, родимая.

— Не могу, Маша. Сгорели слезы мои.

А от Трофима Волкова трое «волчат» осталось. Трое, и старшему — девять. Какие уж тут слезы, тут слезы не помогут, тут только одно помочь способно: плечом к плечу. Живой женской стеной оградить от смерти детей. Валентина (мать

Володи) плечом к Полине, проживавшей с дочкой Розочкой в комнате, где прежде, еще при старом режиме, находилась ванная: там прорубили узенькое окошко, света не хватало, и вся квартира Розочку Беляночкой звала. А Полина — плечом к Маше Волковой, за которой — трое, а Маша — к Любе — аптекарше с близнецами Герой да Юрой: пятнадцать лет на двоих. А Люба — к Анне Федотовне, а та — опять к Валентине, к другому ее плечу, и хоть некого ей было прикрывать, да дети — общие. Это матери у них разные и отцы, если живы, а сами дети — наши. Общие дети коммунальных квартир с переделанными под жилье ванными и кладовками, с заколоченными парадными подъездами еще с той, с Гражданской войны, с общими коридорами и общими кухнями, на которых в те годы собирались вместе чаще всего по одной причине.

— Вот и моему срок вышел, подруги мои дорогие, — давилась слезами Полина, обнимая свою всегда серьезную Розочку, которую полутемная ванная да темные дни войны окончательно превратили в Беляночку. — Муж мой Василий Антонович пал храброй смертью, а где могила его, того нам с дочкой не писали. Выходит, что вся земля его могила.

Выпивала Анна Федотовна поминальную за общим столом, шла к себе, стелила постель и, перед тем как уснуть, обязательно перечитывала оба письма и похоронку. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, месяцы — в годы; пришел с войны еще раз покалеченный Владимир, и это был единственный мужчина, кто вернулся в их коммуналку на пять комнат и пять вдов, не считая сирот. А за ним вскоре пришла Победа, возвращались из эвакуации, с фронтов и госпиталей москвичи, оживал город, и оживала вместе с ним коммуналка. Опять зазвучал смех и песни, и сосед Владимир женился на девушке Римме из соседнего подъезда.

— Как ты мог? — сквозь слезы сдавленно спросила Анна Федотовна, когда он пригласил ее на свадьбу. — Ведь с нею Игорек переписываться мечтал, как же ты мог?..

— Прости нас, тетя Аня, — сказал Владимир и виновато вздохнул. — Мы все понимаем, только ты все-таки приди на свадьбу.

Время шло. Анна Федотовна по-прежнему утром уходила на работу, а вечером читала письма. Сначала это было мучительно болезненной потребностью, позже — скорбной обязанностью, потом — привычной печалью, без которой ей

было бы невозможно уснуть, а затем — ежевечерним непременнейшим и чрезвычайно важным разговором с сыном. С Игорьком, так и оставшимся мальчишкой навсегда.

Она знала письма наизусть, а все равно перед каждым сном неторопливо перечитывала их, всматриваясь в каждую букву. От ежевечерних этих чтений письма стали быстро ветшать, истираться, ломаться на сгибах, рваться по краям. Тогда Анна Федотовна сама, одним пальцем перепечатала их у знакомой машинистки, с которой когда-то — давным-давно, еще с голоду двадцатых — вместе перебрались в Москву. Подруга сама рвалась перепечатать пожелтевшие листочки, но Анна Федотовна не разрешила и долго и неумело тюкала одним пальцем. Зато теперь у нее имелись отпечатанные копии, а сами письма хранились в шкатулке, где лежали дорогие пустяки: прядь Игоревых волос, зажим его пионерского галстука, значок «Ворошиловский стрелок» ее мужа, нелепо погибшего еще до войны, да несколько фотографий. А копии лежали в папке на тумбочке у изголовья: читая их перед сном, она каждый раз надеялась, что ей приснится Игорек, но он приснился ей всего два раза.

Такова была ее личная жизнь с декабря сорок первого. Но существовала и жизнь общая, сосредоточенная в общей кухне и общих газетах, в общей бедности и общих праздниках, в общих печалях, общих воспоминаниях и общих шумах. В эту коммунальную квартиру не вернулся не только Игорь: не вернулись отцы и мужья, но они были не просто старше ее сына — они оказались жизненнее его, успев дать поросль, и эта поросль сейчас шумела, кричала, смеялась и плакала в общей квартире. А после Игоря остались учебники и старый велосипед на трех колесах, тетрадка, куда он переписывал любимые стихи и важные изречения, да альбом с марками. Да еще сама мать осталась: одинокая, почерневшая и разучившаяся рыдать после похоронки. Нет, громкоголосые соседи, сплоченные роковыми сороковыми да общими поминками, никогда не забывали об одинокой Анне Федотовне, и она никогда не забывала о них, но томная ее сдержанность невольно приглушала звонкость подраставшего поколения, либо уже позабывшего, либо вообще не знавшего ее Игорька. Все было естественно, Анна Федотовна никогда ни на что не обижалась, но однажды серьезная неприятность едва не промелькнула черной кошкой за

их коммунальным столом.

Случилось это, когда Римма благополучно разрешилась в роддоме первенцем. К тому времени умерла мать Владимира, отец еще в ноябре сорок первого погиб под Сходней в ополчении, и Владимир попросил Анну Федотовну быть вроде как посаженой матерью и бабкой на коммунальном торжестве. Анна Федотовна не просто сразу согласилась, но и обрадовалась — и потому, что не забыли о ней на чужих радостях, и потому, конечно, что знала Володю с детства, считала своим, почти родственником, дружила с его матерью и очень уважала отца. Но, радостно согласившись, тут же и почернела, и хотя ни слова не сказала, но Владимир понял, что подумала она при этом об Игоре. И вздохнул:

— Мы нашего парнишку Игорем назовем. Чтоб опять у нас в квартире Игорек был.

Анна Федотовна впервые за много лет улыбнулась, и коммунальное празднество по поводу появления на свет нового Игорька прошло дружно и весело. Анна Федотовна сидела во главе стола, составленного из пяти разнокалиберных кухонных столиков, и соседи говорили тосты не только за младенца да молодых маму с папой, но и за нее, за названую бабку, и — стоя, конечно, —

за светлую память ее сына, в честь которого и назвали только что родившегося гражданина.

А через неделю вернулась из роддома счастливая мать с младенцем на руках и с ходу объявила, что ни о каком Игоре и речи быть не может. Что, во-первых, она давно уже решила назвать своего первого Андреем в память погибшего на войне собственного отца, а во-вторых, имя Игорь теперь совершенно немодное. К счастью, все споры по этому поводу между Риммой и Владимиром происходили, когда Анна Федотовна была на работе; в конце концов, Римма, естественно, победила, но молодые родители, а заодно и соседи решили пока ничего не говорить Анне Федотовне. И дружно промолчали; спустя несколько дней Владимир зарегистрировал собственного сына как Андрея Владимировича, к вечеру опять устроили коммунальную складчину, на которой Римма и поведала Анне Федотовне о тайной записи и показала новенькое свидетельство о рождении. Но Анна Федотовна глядела не в свежие корочки, а в счастливые глаза.

— А Игорек мой, он ведь любил тебя, — сказала. — Переписываться мечтал.

— Да чего же переписываться, когда я в соседнем подъезде всю жизнь прожила? — улыбнулась

Римма, но улыбка у нее получилась несмелой и почему-то виноватой. — И в школе мы одной учились, только он в десятом «Б», а я — в восьмом «А»…

— Будьте счастливы, — не дослушала Анна Федотовна. — И пусть сынок ваш никогда войны не узнает.

И ушла к себе.

Напрасно стучались, звали, просили — даже двери не открыла. И почти полгода с того вечера малыша старалась не замечать. А через полгода — суббота была — в глухую и, кажется, навеки притихшую комнату без стука ворвалась Римма с Андрейкой на руках.

— Тридцать девять у него! Володя на работе, а он — криком кричит. Я за «Скорой» сбегаю, а вы пока с ним тут…

— Погоди.

Анна Федотовна распеленала ребенка, животик ему пощупала, вкатила клизму. Когда доктор приехал, Андрейка уже грохотал погремушкой у не признававшей его названой бабки на руках.

— Не умеешь ты еще, Римма, — улыбнулась Анна Федотовна, когда врач уехал. — Придется мне старое вспомнить. Ну-ка, показывай, что сын ест, где спит да чем играет.

И с этого дня стала самой настоящей бабкой. Сама забирала Андрейку из яслей (сдавала его Римма, ей по времени получалось удобнее), кормила, гуляла с ним, купала, одевала и раздевала и учила молодую мамашу:

— Игрушек много не покупай, а то он всякий интерес потеряет. И на руки пореже бери. В крайнем случае только: пусть наш Андрейка к самостоятельности привыкает. Себя развлекать научиться — это, Римма, огромное дело.

— Анна Федотовна, бабушка наша дорогая, следующего мы непременно Игорьком назовем. Честное комсомольское!

Следующей родилась девочка, и назвали ее Валентиной в честь матери Владимира — на этом уж Анна Федотовна настояла. А сама все ждала и ждала, а ее очередь все не приходила и не приходила.

А время шло себе и шло. Росли дети — уже не просто названые, уже самые что ни на есть родные внуки Анны Федотовны Андрюша и Валечка; взрослели их родители Владимир Иванович и Римма Андреевна; старела, темнела, таяла на глазах и сама Анна Федотовна. Менялись жильцы в некогда плотно населенной коммунальной квартире: получали отдельное жилье, менялись,

уезжали и переезжали, и только две семьи — Владимира и Риммы да одинокой Анны Федотовны — не трогались с места. Владимир и Римма понимали, что Анна Федотовна ни за что не уедет из той комнаты, порог которой навсегда переступил ее единственный сын, а дети — да и они сами — так привязались к осиротевшей старой женщине, что Владимир решительно отказывался от всех вариантов, настаивая дать им возможность улучшить свои жилищные условия за счет освободившейся площади в этой же квартире. И к началу шестидесятых им в конце концов удалось заполучить всю пятикомнатную квартиру с учетом, что одну из комнат они вновь переделают в ванную, которой у них не было чуть ли не с Гражданской войны, одна — большая — остается за Анной Федотовной, а три они получают на все свои четыре прописанных головы. К тому времени, как было получено это разрешение, после всех перепланировок и ремонтов, связанных с восстановлением ванной комнаты, Анна Федотовна оформила пенсию, хотела пойти еще поработать и…

— А внуки? — строго спросил на семейном совете Владимир Иванович. — Андрейке — девять, Валюшке — пять: вот она, самая святая твоя ра-

бота, тетя Аня.

— А жить нам вместе сам бог велел, — подхватила Римма. — У нас родители погибли, у вас — Игорек, так давайте всю вашу пенсию в один котел, и будем как одна семья.

— А мы и есть одна семья, — улыбнулся муж, и вопрос был решен.

Да, все менялось в жизни, менялось, в общем, к лучшему, но одно оставалось неизменным: письма. Письмо Игоря, сохранившее для нее не только его полудетский почерк, но и его голос; и письмо однополчанина и друга, звучавшее теперь как последний рассказ о сыне. Время коснулось и писем, но не только тленом, а как бы превратив слова в звуки: теперь она все чаще и чаще совершенно ясно слышала то, что аккуратно перечитывала перед сном. Знала наизусть и слышала наизусть, а все равно внимательно вглядывалась в каждую строчку и ни за что не смогла бы уснуть, если бы по какой-либо причине этот многолетний ритуал оказался бы нарушенным.

Два перепечатанных письма и похоронка, которую она тоже знала наизусть, но которая тем не менее всегда оставалась безмолвной. В ней не звучало ни единого слова, да и не могло звучать, потому что похоронка всю жизнь восприни-

малась Анной Федотовной копией могильной плиты ее сына, превращенной в листок казенной бумаги, но сохранившей при этом всю свою безмолвную гробовую тяжесть. И, читая ее каждый вечер, осиротевшая мать слышала только холодное безмолвие могилы.

А самая главная странность заключалась в том, что Анна Федотовна до сей поры так никому и не призналась в своей странной привычке. Сначала от острого чувства одиночества и не менее острого желания сберечь это одиночество, потому что совсем не одинока была она в горе своем в то черное, горькое время. Потом, когда притупилась первая боль, ее ровесницы-соседки — те, которые испытали то же, что испытала она, у кого не вернулись сыновья или мужья, — уже успели либо помереть, либо переехать. В коммунальной квартире исчезали вдовы, а молодежи становилось все больше, и потому все чаще звучал смех, все веселее становились голоса и громче — разговоры. Привычная родная коммуналка, из которой тусклым промозглым рассветом навсегда ушел ее Игорек, молодела на ее глазах, и Анна Федотовна уже не решалась признаться этой помолодевшей квартире в своей укоренившейся за это время привычке. А потом все это вместе стало риту-

алом, почти священнодействием со своей уже сложившейся последовательностью, ритмом, торжественностью и только ею одной слышимыми голосами, и старая одинокая женщина уже вполне сознательно скрывала свою странность от шумного, звонкого, столь далекого от тех роковых сороковых подрастающего населения.

И так продолжалось из года в год. Жили в бывшей коммунальной квартире единой семьей: старшие работали, младшие учились. Анна Федотовна как могла помогала им работать и учиться, взяв на себя домашние хлопоты: сготовить, накормить, убрать. После ужина смотрела с Владимиром и Риммой телевизор — старенький, с крохотным экраном «КВН», — а когда заканчивались передачи, уходила к себе, укладывалась в постель, доставала письма, и в ее сиротской комнате начинали звучать голоса сорок первого года…

«…Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник…»

В 1965-м, к юбилею Победы, по телевидению начали передавать множество фильмов о войне — художественных и документальных, смонтированных из военной хроники тех лет. Обычно

Анна Федотовна никогда их не смотрела: еще шли титры, а она уже поднималась и уходила к себе. Не могла она заставить свое насквозь изъеденное тоской сердце обжигаться гибелью мальчиков, ровесников ее сына, даже если это был фильм художественный и наземь красиво падали красивые актеры. Для нее это было не столько свидетельством смерти, сколько знаком смерти, ненавистным ей реальным оттиском реального убийства ее единственного сына. И она уходила, ничего не объясняя, потому что и объяснять-то было некому: Владимир и Римма и без слов ее отлично понимали.

Только однажды задержалась она в комнате дольше обычного. Уже шел на крохотном кавээновском экране какой-то фильм о войне — сам по себе, собственно, шел, никто его не смотрел. У одиннадцатилетней Валечки начало вдруг прогрессировать плоскостопие, ее срочно показали специалисту, и тем вечером родители и Анна Федотовна горячо обсуждали рекомендации этого специалиста. И так этим увлеклись, что забыли про телевизор, на экране которого с приглушенным звуком (дети уже спали) демонстрировался какой-то документальный фильм.

Анна Федотовна совершенно случайно глянула

на экран — все ее помыслы вертелись тогда вокруг Валечкиного плоскостопия, — но глянула и увидела уходящую от нее узкую мальчишескую спину в грязной шинели, с винтовкой и тощим вещмешком за плечами.

— Игорек!.. Игорек, смотрите!..

Но Игорек (если это был он) снова ушел, как ушел почти четверть века назад — навсегда и без оглядки. И никто не знал, что это был за фильм, как он назывался и в какой рубрике телепрограмм его следует искать. Ничего не было известно и ничего невозможно было узнать, и поэтому Анна Федотовна отныне целыми днями сидела у телевизора, придвигаясь почти вплотную к малюсенькому экрану, как только начинались военные передачи. Теперь она смотрела все, что касалось войны, — фильмы, хронику и даже телеспектакли, потому что в любой момент могла мелькнуть на экране мальчишеская спина в грязной шинели с винтовкой и вещмешком. Пережаривались на кухне котлеты, выкипали супы, ревела Валечка из-за неглаженого фартука, хватал двойки уловивший вольготную полосу Андрейка, а Анна Федотовна, не отрываясь, все смотрела и смотрела старенький громоздкий телевизор.

Не появлялась больше спина, ушедшая тревожной осенью сорок первого прикрывать Москву. А может, не его это была спина, не Игорька? Мало ли их, этих мальчишеских спин, ушло от нас навсегда, так и не оглянувшись ни разу? Это было вероятнее всего, это спокойно и рассудительно доказывал Владимир, об этом осторожно, исподволь нашептывала Римма, но мать, не слушая доводов, упорно вглядывалась в экран.

— Ну что ты смотришь, что ты смотришь, это же Сталинградская битва!

— Оставь ее, Володя. Тут наши уговоры не помогут.

Все вдруг изменилось в доме, но одно осталось без изменения, как обещание возврата к прежнему размеренному покою, как надежда если не на светлое, то на привычное будущее. Не претерпел никаких новшеств ежевечерний ритуал: целыми днями с небывалым напряжением вглядываясь в экран телевизора, Анна Федотовна по-прежнему перечитывала перед сном заветные письма. Так же неторопливо, так же внимательно, так же слыша голоса двух из трех полученных ею весточек с войны, живший в ней голос Игорька и второй — его друга сержанта Вадима Переплетчикова, которого она никогда не видела и не слышала,

но голос которого ясно звучал чистым мальчишеским альтом. Они были очень похожи, эти два голоса: их объединяли молодость и дружба, война и опасность, общая жизнь и, как подозревала Анна Федотовна, общая смерть, которая настигла одного чуть раньше, другого — чуть позже, только и всего. И несмотря на полную братскую схожесть, она отчетливо разделяла эти голоса, потому что их более не существовало: они продолжали жить только в ее сердце.

Уже отметили юбилей Победы, уже телевидение начало резко сокращать количество военных передач, а Анна Федотовна продолжала сидеть перед телеэкраном, все еще надеясь на чудо. Но чудес не существовало, и, может быть, именно поэтому она как-то впервые за много лет запнулась на письме друга. Должна была следовать фраза: «Ваш Игорь, дорогая Анна Федотовна, всегда являлся примером для всего нашего отделения…» — а голос этой фразы не произнес. Замолк голос, оборвался, и Анна Федотовна растерялась: ритуал неожиданно дал сбой. Вслушалась, но голос не возникал, и тогда она начала лихорадочно просматривать письмо сержанта, уже не надеясь на его голос и собственную память. Напрягая зрение, она то приближала, то отдаляла от себя

затертый листок с машинописным текстом, поправляла лампу, чтобы ярче высветить его, но все было напрасным. Она не видела ни одной буквы, слова сливались в строчки, строчки — в неясные черточки, и Анна Федотовна со странным, зябким спокойствием поняла, что многодневные сидения перед тусклым экраном телевизора не прошли для нее даром.

Она не испугалась, не растерялась и никому ничего не сказала: зачем зря беспокоить людей? Но на другой день, проводив детей в школу, собралась в районную поликлинику. Оделась, проверила, не забыла ли паспорт, вышла на улицу и, качнувшись, испуганно остановилась; все предметы казались размытыми, люди и машины возникали вдруг, точно из непроницаемого тумана. В квартире она не замечала ничего подобного, то ли потому, что все было знакомым и память корректировала ослабевшее зрение, то ли потому, что все расстояния были ограниченны. Ей пришлось постоять, чтобы хоть как-то свыкнуться с новым ударом, и до поликлиники она не дошла, а доплелась.

Очки, которые прописал окулист, помогли ходить, но читать Анна Федотовна уже не могла. Но все равно каждый вечер перед сном она брала

письма и неторопливо вглядывалась в них, слушая голоса или вспоминая навечно врубившиеся в память строки: «…ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых…»

Это помогало, пока Анна Федотовна еще замечала хотя бы черточки строчек. Но год от года зрение все ухудшалось, мир тускнел, уходя в черноту, и хотя теперь в семье был новый телевизор с большим экраном, она и его не могла смотреть, и узкая мальчишеская спина вновь ушла от нее навсегда. Но это происходило постепенно, позволяя ей если не приспосабливаться, то примиряться, и Анна Федотовна воспринимала все с горечью неизбежности. Но когда в бесценных ее листочках стали исчезать последние штрихи, когда перед ее окончательно ослабевшими глазами оказались вдруг однотонные серые листы бумаги, она испугалась по-настоящему. И впервые за все десятилетия рассказала о священном своем ритуале единственному человеку: Валечке. Не только потому, что Валя выросла на ее руках, звала бабушкой и считала таковой: к тому времени Валя уже стала студенткой Первого медицинского института, и это окончательно убедило Анну Федотовну, что доверить такую тайну можно только своей любимице. И хотя Вале не всегда

удавалось читать ей письма регулярно — то отъезды, то ночные дежурства, то непредвиденные молодые обстоятельства, — привычная жизнь в общем своем потоке вернулась в свое русло.

И продолжала неумолимо нестись вперед. Женился и переехал к жене молодой инженер-строитель Андрей; Валя заново перепечатала тексты всех трех писем (оригиналы по-прежнему хранились в заветной шкатулке); в середине семидесятых скончался от старых фронтовых ран Владимир Иванович, Валентина без всякого замужества родила девочку, и Анна Федотовна ослепла окончательно.

Но помощи ей почти не требовалось. Она свободно передвигалась по квартире, в которой практически прожила жизнь, знала, где что стоит да где что лежит, быстро научилась ухаживать за собой и продолжала стирать на всю семью. Вытянув руку и шаркая тапочками, бродила по бывшей коммуналке, в которой опять остались одни женщины, и думала, как странно устроена жизнь, коли с таким упорством возвращает людей к тому, от чего они хотели бы убежать навсегда.

Но главной ее заботой, ее последней радостью и смыслом всего ее черного существования стала

теперь голосистая безотцовщина Танечка. Анна Федотовна не могла дождаться, когда бабушка Римма приведет ее сначала из яслей, потом — из детского садика, а затем и из школы, тем более что вскоре школ оказалось две, поскольку Танечку параллельно заставили учиться еще и в музыкальной. Анна Федотовна играла с ней куда больше, чем занятые работой, магазинами и хозяйством мать и родная бабка; рассказывала ей сказки, которые когда-то рассказывала своему сыну; отвечала на бесчисленные «почему?», а в пять лет впервые познакомила с заветными письмами, показав не только копии, но и оригиналы и подробнейшим образом растолковав разницу между этими бумажками. А еще через год Танечка научилась читать и заменила маму у постели Анны Федотовны. Правда, из-за этого Анне Федотовне пришлось ложиться раньше Танечки, но и это было к лучшему: она старела, начала быстро уставать, задыхаться, просыпаться до света и долго лежать без сна.

Она любила эти внезапные пробуждения среди ночи. Было как-то особенно тихо, потому что спала не только вся квартира, но и весь мир, а шум редких автомашин лишь скользил по стенам дома, касался стекол в окнах, заставляя их чуть

вздрагивать, и исчезал вдали. Темнота, вечно окружавшая ее, делалась беззвучной и ощутимой, как бархат; Анне Федотовне становилось покойно и уютно, и она неторопливо начинала думать о своем Игорьке.

Она вспоминала его совсем крохотным, беспомощным, целиком зависящим от ее тепла, внимания и ласки, от ее груди и ее рук — от нее, матери, будто их все еще соединяла пуповина, будто живые токи ее тела питали его и наливали силой и здоровьем для завтрашних невзгод. Вспоминала, как ежедневно купала его, и до сей поры ощущала то величайшее счастье, которое испытывала тогда. Вспоминала, как он радостно таращил на нее круглые, доверчивые глаза, как отчаянно взбивал крепкими ножками воду в ванночке, с каким самозабвением колотил по ней кулачками и как при этом не любил и даже побаивался мыла.

Она вспоминала, как он начал сам вставать в кроватке, цепко хватаясь руками за перила. И как сделал… нет, не сделал — как совершил первый шаг и сразу упал, но не испугался, а засмеялся; она подняла его, и он тут же шагнул снова, снова шлепнулся и снова засмеялся. А потом зашагал, затопал, забегал, часто падая и расшибаясь, часто

плача от боли, но сразу же забывая эту боль. Ах, сколько синяков и шишек он наставил себе в это время!

Ванночка уже не вмещала сына. Это было на прежней квартире; там всегда почему-то дуло, и она боялась, что простудит Игорька во время этих купаний. И все время хотела куда-нибудь переехать, разменяться с кем-либо на любой район и любую площадь.

Нет, не только потому она стремилась обменять комнату, что сын перестал умещаться в ванночке и его теперь приходилось мыть по частям. Она решилась на этот обмен потому, что сын настолько вырос, что однажды задал вопрос, которого она так ждала и так боялась:

— А где мой папа?

А они даже не были расписаны, и папа уехал навсегда, когда Игорьку исполнилось три года. И матери все время казалось, что сын помнит канувшего в небытие отца, что сама эта комната, соседи, вещи, стены — все рассказывает ему то, о чем не следовало бы знать. И как только сын заинтересовался отцом, Анна Федотовна тут же обменяла свою большую удобную комнату с балконом и оказалась в коммуналке, где сразу же объявила себя вдовой. Вот в этой самой комнате,

из которой ушел Игорек и в которой ей, может быть, посчастливится окончить свою жизнь.

Школьный период в коротенькой биографии сына Анна Федотовна вспоминала реже. Нет, она отчетливо помнила все его рваные локти и сбитые коленки, все «очень плохо» и «очень хорошо», все радости и горести. Но тогда он уже не принадлежал ей одной, безраздельно; тогда школа уже вклинилась между нею и сыном, уже успела создать для него особый мир, в котором не оказалось места для нее: мир своих друзей и своих интересов, своих обид и своих надежд. Игорь-школьник принадлежал матери только наполовину, и поэтому она предпочитала помнить его малышом.

Правда, один случай любила вспоминать часто и в подробностях и тогда, кажется, даже чуть улыбалась.

Игорек бежал в Испанию. Мальчики, обреченные на безотцовщину, растут либо отчаянными неслухами, либо тихонями, и ее сын склонялся к последнему типу. Тихони из дома не бегают, зато с удовольствием подчиняются тем, кто бегает, а в том испанском побеге коноводом был соседский Володька, сын Валентины и Ивана Даниловича. Он рвался еще в Абиссинию защищать

эфиопов от итальянских фашистов, но по полной географической необразованности запутался в направлении и опоздал. Потом начались испанские события, а в их квартире — строительство баррикад. Баррикады воздвигались совместно с Игорем, соседи ругались, потирая зашибленные места, а по всей коммуналке гремело звонкое «Но пасаран!».

Через год атмосфера в Испании накалилась настолько, что без Володьки республиканцы обойтись никак уже не могли. Одному двигаться было сложно (опять проклятая география!); Володька с трудом уломал Игорька смотаться в Мадрид, разгромить фашистов и вернуться к Майским праздникам в Москву. Однако бежали приятели почему-то через Белорусский вокзал, где их и обнаружил сосед Трофим Авдеевич, поскольку вся квартира была брошена на поиски, но повезло именно ему:

— Марш домой, огольцы!

Но каким бы Анна Федотовна ни представляла себе сына — беспомощным, ползающим, топающим, убегающим в Испанию или решающим непонятные ей задачи, — в конце концов он непременно вставал перед ней медленно спускающимся с первого лестничного марша. И каждый

вечер она видела его узкую мальчишескую спину и слышала одну и ту же фразу:

— Я вернусь, мама.

И еще она отчетливо помнила дыхание соседок за спиной, тогдашних солдаток, постепенно в порядке непонятной страшной очереди превращавшихся из солдаток во вдов. Перебирала в воспоминаниях коммунальные поминки, общую беду и общую бедность, серую лапшу с яичным порошком, карточки, лимитные книжки для коммерческих магазинов, на которые никогда не хватало денег, и — огороды. У всех тогда были огороды: с них кормилась, на них поднималась послевоенная Москва.

Участки распределялись предприятиями, но выращивали картошку всей коммуналкой сообща. Выходными, а то и просто вечерами по очереди ездили сажать, окучивать, копать. И знали, чью картошку едят сегодня за общим столом: у Любы-аптекарши она поспевала раньше, у Маши была особенно рассыпчатой, а оладьи лучше всех получались у Валентины. Теперь нет такой картошки. Теперь есть только три сорта: рыночная, магазинная да какая-то кубинская. А тогда был только один: коммунальный. Один для всех, кто пережил войну.

Вот так в привычных дневных делах, вечернем чтении писем, предрассветных воспоминаниях и вечной непроглядной тьме и проходила ее жизнь. Время текло с прежним безразличием к судьбам людским, равномерно отсчитывая падающие в никуда мгновения, но Анна Федотовна уже не замечала своего уходящего времени. Пережив где-то в шестьдесят прозрение в неизбежности скорого разрушения и скорого ухода из жизни — то, что привычно именуется старостью, — она сохранила ясность ума и способность обходиться без посторонней помощи, потому что весь смысл ее жизни был в прошлом. Все настоящее было преходящим и быстротечным: тот небольшой объем домашней работы, который она оставила за собой; все истинное, то, ради чего еще стоило жить и терпеть, начиналось с вечернего чтения Танечки, короткого сна и заканчивалось бесконечно длинными и прекрасными воспоминаниями о сыне. Там, в этих воспоминаниях, она ощущала свое могущество: могла останавливать само время, поворачивать его вспять, вырывать из него любые куски и перетасовывать их по собственному желанию. Это было ее личное, всею жизнью выстраданное царство, и если к ней допустимо применить понятие счастья, то

Анна Федотовна была счастлива именно сейчас, на глубоком закате своей жизни.

Ей уже торжественно справили восьмидесятилетие, на которое собралась не только вся семья, но пришли сыновья и дочери тех, кто когда-то жил с нею бок о бок в голодной коммуналке. Кто если и не помнил, так по крайней мере мог хотя бы видеть живым ее Игорька, поскольку семенил, пищал и ползал в то первое военное лето. И поэтому им, практически уже незнакомым, посторонним людям она обрадовалась больше всего.

— Погоди, погоди… — проводила кончиками сухих невесомых пальцев по лицу, осторожно касалась волос. — Так. Полина дочка, что в ванной жила. Роза. Помню, помню. — Голова у Анны Федотовны уже заметно тряслась, но держала она ее прямо и чуть выше обычного, как держат головы все слепые. — Ты без солнышка росла тут, недаром мы тебя Беляночкой звали. Замужем?

— Дайте руку, тетя Аня. — Бывшая Беляночка, а ныне весьма солидная дама взяла сухую старческую ладонь и приложила ее к щеке своего соседа. — Мой муж Андрей Никитич. Знакомьтесь.

— Здравствуй, Андрей. Детишки-то есть у вас?

— Одна детишка со стройотрядом уехала, второй — в армии, — сказал муж. — Мы уж с Розой старики…

Жена сердито дернула его за рукав, и он сразу же виновато примолк. А Анна Федотовна без всякой горечи подумала, какая же тогда она древняя старуха, если дети детей служат в армии и уезжают в неведомые ей стройотряды. Что служат и уезжают — это ничего, это хорошо даже, только бы войны не было. Только бы мальчики не уходили от матерей, медленно спускаясь по лестничным маршам навсегда.

Такие мысли частенько посещали ее: она принимала окружающую ее жизнь очень близко, потому что эта такая непонятная с виду, а по сути такая обыкновенная жизнь представлялась ей теперь вроде большой коммунальной квартиры. Где все рядом, где все свои, где горюют общим горем и радуются общим радостям, где едят общую картошку после общих трудов и откуда могут вдруг снова начать уходить сыновья. Вниз по лестнице в никуда. И до боли страдала за всех матерей.

— А меня узнаете, тетя Аня?

Бережно коснулась рукой:

— Гера. А Юрка где? Не пришел?

Напутала старая: Юрий стоял сейчас перед нею, а не Гера. Но никто не стал уточнять, только поулыбались. А Юрий неуверенно кашлянул и уверенно сказал:

— Юрка-то? Юрка, тетя Аня, гидростанции на Памире строит, привет вам просил передать. И поздравления.

— За стол, ребята, за стол! — скомандовала Римма. — Ведите именинницу на почетное место.

За столом как расселись, так сразу и повели непрерывные разговоры о том далеком времени. Гости вспоминали его и вместе, и поодиночке, но вспоминали как-то очень уж общо, точно прочли несколько статей о Москве сорок первого прежде, чем идти сюда. Но Анна Федотовна ничего этого не замечала и была бесконечно счастлива, а седая, располневшая, год назад ушедшая на пенсию Римма могла быть довольна и была довольна, потому что всех этих гостей она не просто привела на торжество, но и хорошенько проинструктировала. Она была очень умной женщиной, и Игорек недаром мечтал с нею переписываться. Она заранее подобрала в библиотеке книжки, но каждому гостю велела прочитать что-то одно, чтобы все вместе могли говорить о разном и даже спорить, а сама Римма, зная об Игоре все, лишь подправляла

эти воспоминания вовремя уточненными деталями. И все тогда прошло замечательно: бывшая коммуналка отметила восемь десятков осиротевшей женщины так, как редко кто отмечает.

А затем пришел 1985 год. Год сорокалетия великой Победы.

К празднику готовились, его ждали, им заслуженно гордились. И снова по телевидению — только теперь несравненно больше, чем двадцать и десять лет назад, — пошли фильмы и хроника, песни и стихи, воспоминания и документы войны. И все, кроме Анны Федотовны, смотрели передачи цикла «Стратегия победы», а Анна Федотовна уходила к себе. Ей было больно и горько: только она, она одна могла узнать родную мальчишескую спину из далекого сорок первого, но слепота навеки лишила ее этой возможности. Возможности последнего чуда: увидеть перед смертью давно погибшего сына.

А может, тогда, в шестьдесят пятом, и вправду мелькнул не ее Игорек? Тем более что видела она ту спину всего мгновение, видела неожиданно, не успела вглядеться… И внутренне, где-то очень, очень глубоко, почти тайком от себя самой, понимала, что это — не он. Не сын, не Игорек, но не хотела прислушиваться к трезвому голосу рас-

судка, а хотела верить, что Игорь хоть и погиб, но как бы не окончательно, как бы не весь, что ли. Не исчез бесследно, не истлел в братской могиле, не распался, а остался навеки в бледном отпечатке пленки, когда камера оператора снимала не его специально, а саму фронтовую жизнь, и в той фронтовой реальной жизни реально жил, двигался, существовал теперь уж навсегда ее сын. В это хотелось верить, в это необходимо было верить, и она верила. Только верила, не пытаясь ничего проверять.

— Бабуля, это к тебе, — громко и радостно объявила Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух очень серьезных девочек и одного еще более серьезного мальчика. — Ты покажи им все и расскажи, ладно? А я побежала, я в музыкальную школу опаздываю. — И умчалась.

А слепая Анна Федотовна осталась на пороге кухни, не видя, но точно зная, что трое ребятишек застенчиво жмутся у порога.

— Раздевайтесь, — сказала. — И проходите в комнату прямо по коридору. Я сейчас приду к вам.

Гости чинно проследовали в ее комнату, а она вернулась на кухню. Привычно домыла тарелки, с привычной осторожностью поставила их на

сушилку и прошла к себе. Дети стояли у дверей, выстроившись в шеренгу; проходя, она легонько коснулась каждого пальцами, определяя, какие же они, ее внезапные гости, обнаружила, что стоявшая первой девочка выше и крепче очень серьезного мальчика, а последняя — маленькая и живая: она все время качалась, шепталась и переминалась с ноги на ногу, поскрипывая туфельками. «Значит, очень уж ей туфельки нравятся, наверно, обновка, — подумала Анна Федотовна. — А высокая, видать, у них за старшую, потому-то парнишка и пыжится. Да еще и волнуется, лоб у него в испарине». И, сразу же выяснив все, села в кресло, которое досталось ей по наследству от матери теперь уж тоже покойного Владимира.

— Садитесь, кому где удобнее. И говорите, зачем пришли, по какому такому делу.

Кажется, дети так и не сели, но долго шушукались, подталкивая друг друга. Наконец мальчика, видать, вытолкнули в ораторы.

— Ваша внучка Таня со своей музыкальной школой выступала на сборе нашей пионерской дружины. А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». А она тогда сказала, что у вас фашисты убили сына Игоря и что он вам писал письма.

Мальчик выпалил все единым духом и замолчал. Анна Федотовна обождала, но девочки молчали тоже, и тогда она уточнила:

— Игорь успел написать всего одно письмо. А второе написал после его смерти его товарищ Вадим Переплетчиков.

Протянула руку, взяла с привычного места — с тумбочки у изголовья — папку и достала оттуда листы. Зачитанные и еще не очень зачитанные. Протянула высокой девочке — Анна Федотовна ясно представляла, где она стоит сейчас, эта самая главная девочка.

— Здесь еще уведомление о смерти.

Папку взяли и сразу же сгрудились над ней: Анне Федотовне показалось даже, как при этом стукнулись все три лба, и она улыбнулась. Пионеры пошушукались, но недолго, и большая девочка сказала с нескрываемым недоверием:

— Это же все ненастоящее!

— Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень дорожу, — пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон. — Девочка… Та, которая маленькая, ты стоишь возле комода. Правда?

— Правда, — растерянно подтвердила маленькая. — А ваша внучка говорила, что вы ослепли

от горя.

— Я научилась чувствовать, кто где стоит, — улыбнулась Анна Федотовна. — Открой верхний левый ящик. Там есть деревянная шкатулка. Достань ее и передай мне.

Опять раздалось шушуканье, потом скрип выдвигаемого ящика, и тут же кто-то — Анна Федотовна определила, что мальчик, — положил на ее руки шкатулку.

— Идите все сюда.

Они сгрудились вокруг: она ощутила их дыхание, теплоту их тел и точно знала, кто где разместился. Открыла шкатулку, бережно достала бесценные листочки.

— Вот, можете посмотреть. Здесь письмо моего сына Игоря, письмо его друга Вадима и… И похоронка. Так называлось тогда официальное уведомление о гибели человека на войне.

Дети долго разглядывали документы, шептались. Анна Федотовна слышала отдельные фразы: «А почему я? Ну почему? Ты — звеньевая…», «А потому, что у нее сын, а не дочь, понятно тебе? Если бы дочь, то я бы сама или Катя, а так ты должен…» Еле уловимый, но, видимо, горячий спор закончился тем, что мальчик нерешительно откашлялся и сказал:

— Вы должны передать эти документы нам. Пожалуйста.

— То есть как это? — почти весело удивилась она. — Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их вам?

— Потому что у нас в школе организуется музей. Мы взяли торжественное обязательство к сорокалетию великой Победы.

— Я с удовольствием отдам вашему музею копии этих писем.

— А зачем нам ваши копии? — с вызывающей агрессией вклинилась вдруг звеньевая, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечеловеческим может стать голос десятилетней девочки. — Нет, это даже очень интересно! Ведь копии — это же так просто, это же бумажка. В копии я могу написать, что моя бабушка — героиня «Молодой гвардии», ну и что? Возьмет такую копию музей?

— Не возьмет. — Анне Федотовне очень не понравился этот вызывающий, полный непонятной для нее претензии тон. — И вы не берите. И, пожалуйста, верните мне все документы.

Дети снова возбужденно зашептались. В обычном состоянии для Анны Федотовны не составляло никакого труда расслышать, о чем это

они там спорят, но сейчас она была расстроена и обижена и уже ни к чему не могла, да и не хотела прислушиваться.

— Верните мне в руки документы.

— Бабушка, — впервые заговорила самая маленькая, и голосок у нее оказался совсем еще детским. — Вы ведь очень, очень старенькая, правда ведь? А нам предстоит жить и воспитываться на примерах. А вдруг вам станет нехорошо, и тогда все ваши патриотические примеры могут для нас пропасть.

— Вот когда помру, тогда и забирайте, — угрюмо сказала Анна Федотовна. — Давайте письма, долго еще вам говорить?

— А если вы не скоро… — опять задиристо начала большая, но осеклась. — То есть я хочу сказать, что вы можете не успеть к сорокалетию великой Победы, а мы не можем. Мы взяли торжественное обязательство.

— Хочешь, значит, чтобы я до девятого мая померла? — усмехнулась Анна Федотовна. — Кто знает, кто знает. Только и тогда я не вам эти документы велю переслать, а в другую школу. Туда, где мой Игорь учился: там, поди, тоже музей организуют.

Они молча отдали ей письма и похоронку. Анна

Федотовна ощупала каждый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и сказала:

— Мальчик, поставь эту шкатулку в левый ящик комода. И плотно ящик задвинь. Плотно, чтобы я слышала.

Но слушала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспокоил ее, удивил и обидел. Это ведь была не детская безгрешная откровенность: ее совсем не по-детски, а крепко, по-взрослому прижимали к стене, требуя отдать ее единственное сокровище.

— Трус несчастный, — вдруг отчетливо, с невероятным презрением сказала большая девочка. — Только пикни у нас.

— Все равно нельзя. Все равно, — горячо и непонятно зашептал мальчик.

— Молчи лучше! — громко оборвала звеньевая. — А то мы тебе такое устроим, что наплачешься. Верно, Катя?

Но и этот громкий голос пролетел мимо сознания Анны Федотовны. Она ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда наконец он раздался, вздохнула с облегчением:

— Ступайте, дети. Я очень устала.

— До свидания, — три раза по очереди сказали пионеры и направились к дверям. И оттуда мальчик спросил:

— Может быть, надо вызвать врача?

— Нет, спасибо тебе, ничего мне не надо.

Делегация молча удалилась.

Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну. «Да что с несмышленышей спрашивать, — думала она. — Что хочется, то и говорится, души-то чистые». И, примирившись, опять перебралась на кухню, где теперь проходила вся ее деятельная жизнь: старалась не только мыть да прибирать, но и готовить, и была счастлива, когда все ее дружно хвалили. И не догадывалась, что Римма тайком перемывает всю посуду и как может улучшает сваренные ею супы и борщи. Но сегодня Римма с утра уехала к старшему сыну Андрею, у которого заболел один из сорванцов, и поэтому кулинарные творения Анны Федотовны никто не корректировал.

Конечно, виной ее теперешних промахов была не столько слепота, сколько возраст. Она забывала привычные дозировки и рецепты, сыпала много соли или не сыпала ее вообще, а однажды спутала кастрюли, одновременно кипевшие на плите, и домашние получили довольно загадоч-

ное, но абсолютно несъедобное варево. Но старую женщину никто не обижал, и она пребывала в счастливом заблуждении, что и до сей поры не только не обременяет своих, но и приносит им существенную пользу.

Она вскоре позабыла о визите старательных пионеров — она вообще часто забывала то, что только что происходило, но прошлое помнила ясно и цепко, — но чем ближе к вечеру скатывался этот день, тем все более явно ощущала она некую безадресную тревогу. И оттого, что тревога ощущалась безадресно, оттого, что Анна Федотовна никак не могла припомнить никакой даже косвенной ее причины, ей делалось все беспокойнее. Уже примчалась из музыкальной школы Татьяна, уже Анна Федотовна старательно покормила ее, отправила заниматься, перемыла посуду, а тревожное беспокойство все нарастало в ней.

— Переутомление, — определила Римма, когда по возвращении услышала смутную жалобу Анны Федотовны. — Ложись в постель, я сейчас Таньку пришлю, чтоб почитала.

— Не трогай ты ее, Римма. Она только уроки учить села.

— Ну, сама почитаю. И о внуке расскажу. Простуда у него, в хоккей набегался, а панику

развели…

К этому времени странность Анны Федотовны уже давно перестала быть тайной. То, чего она боялась, оказалось настолько тактично принятым всеми, что Анна Федотовна уже ничего не скрывала, а, наоборот, просила того, кто был посвободнее, десять минут почитать ей перед сном. Чаще всего это была Танечка, так как Валентина работала на полторы ставки, чтобы содержать семью с двумя пенсионерками и одной пионеркой, а Римма была по горло занята не только собственной семьей, но и вечно простуженными мальчишками Андрея, жившего в новом районе, как назло, довольно далеко от их квартиры.

— «Я здоров, все нормально, воюю как все, — читала Римма, тоже наизусть выучив все письма за эти длинные годы. — Как ты-то там одна, мамочка?..»

На этом месте с благоговейным спокойствием воспринимавшая ритуальное это чтение седая старуха вдруг подняла руку, и Римма удивленно смолкла. Спросила после напряженного странного молчания:

— Что случилось?

— Он чего-то не хотел, а они грозились, — невразумительно пробормотала Анна Федотовна,

то ли всматриваясь, то ли вслушиваясь в себя.

— Кто он-то?

— Мальчик. Мальчик не хотел, а девочка его пугала. Он вроде отказывался — «не буду, мол, не буду», а та — «трус, мол, только скажи...». Римма! — Анна Федотовна вдруг привстала на кровати. — Римма, загляни в шкатулку. Загляни в шкатулку...

Не очень еще понимая, но и не споря, Римма встала, выдвинула ящик комода, открыла шкатулку. Старуха напряженно ждала, подавшись вперед в судорожном напряжении.

— Нету? Ну? Что ты молчишь?

— Нету, — тихо сказала Римма. — Похоронка на месте, фотографии, значки, а писем нет. Ни Игорька, ни второго, друга его. Только одна похоронка.

— Только одна похоронка... — прохрипела Анна Федотовна, теряя сознание.

«Неотложка» приехала быстро, врачи вытащили Анну Федотовну из безвременья, объявили, что функции организма, в общем, не нарушены, что больной следует с недельку полежать и все придет в норму. Анна Федотовна молчала, ни на что не жаловалась и глядела невидящими глазами не только сквозь врачей, сквозь Римму,

сквозь оказавшую ей первую помощь Валентину и перепуганную Танечку, даже не только сквозь стены родной и вечно для нее коммунальной квартиры, но, казалось, и сквозь само время. Сквозь всю толщу лет, что отделяли ее сегодняшнюю от собственного сына.

— Я вернусь, мама.

Нет, не слышала она больше этих слов. Она ясно помнила, где, как и когда произнес их Игорь, но голос его более не звучал в ее душе.

— Идите, — с трудом, но вполне четко и осознанно произнесла она, по-прежнему строго глядя в существующую только для нее даль. — Я засну. Я отдохну. Идите.

— Может, почитать… — робко начала Римма, но дочь одернула ее: читать было нечего.

Они выключили свет и тихо вышли из комнаты. Потом угасли шаги, голоса, проскрипели двери, и все стихло.

Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, затаила дыхание, напряженно прислушалась, но душа ее молчала, и голос сына более не звучал в ней. Он угас, умер, погиб вторично — и теперь уже погиб навсегда. И, поняв это, старая, почти на полстолетия пережившая смерть единственного сына мать ощутила вдруг на дряблых, изрублен-

ных глубокими морщинами щеках что-то теплое. С трудом поднесла непослушную руку, коснулась щеки и поняла, что это — слезы. Первые слезы с того далекого, отступившего на добрых пять десятков лет дня получения похоронки. Официального клочка бумаги со штампом и печатью, бесстрастно удостоверяющего, что ее единственный сын действительно погиб, что нет более никаких надежд и что последнее, что еще осталось ей, — это память о нем.

А от всей памяти оставили только похоронку. Разумом Анна Федотовна еще понимала, что память нельзя украсть, но то — разум, а то — действительность, и в этой действительности одновременно с исчезновением писем сына и его друга исчезли и их голоса. Они более не звучали в ней, как ни напрягала она свою память, как ни прислушивалась, как ни умоляла сжалиться над нею и позволить еще хотя бы разочек, один-единственный раз услышать родной голос.

Но было глухо и пусто. Нет, письма, пользуясь ее слепотой, вынули не из шкатулки — их вынули из ее души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и ее душа.

— Господи…

И вдруг отчетливо и громко зазвучал голос.

Не сына, другой: официальный, сухой, без интонаций, тепла и грусти, не говоривший, а докладывающий:

— …уведомляем, что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых восемнадцатого декабря одна тысяча девятьсот сорок первого года в бою под деревней Ракитовка Клинского района Московской области.

«Нет! Нет! Нет! Не надо! Не хочу!» — беззвучно кричала она, но голос продолжал все нарастать и нарастать в ней, заглушая ее собственные беспомощные слова: «…что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых… что ваш сын Игорь пал…» Голос уже гремел в ней, а по морщинистым щекам без перерыва, точно стремясь наверстать упущенное, текли слезы.

И даже когда она умерла и перестала ощущать все живое, голос еще долго, очень долго звучал в ее бездыханном теле, а слезы все медленнее и медленнее текли по щекам. Официальный холодный голос смерти и беспомощные теплые слезы матери.

А письма оказались в запаснике школьного музея. Пионерам вынесли благодарность за активный поиск, но места для их находки так и не нашлось, и письма Игоря и сержанта Переплет-

чикова отложили про запас, то есть попросту сунули в долгий ящик.

Они и сейчас там, эти два письма с аккуратной пометкой: «ЭКСПОНАТ №…» Лежат в ящике стола в красной папке с надписью: «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».